



Действие романа охватывает период трёх десятилетий, начиная с середины шестидесятых и заканчивая началом девяностых годов XX века. События развиваются последовательно в райцентре Костромской области, Ленинграде и городе Перми бывшего Советского Союза, который показан глазами главной героини (маленькой девочки, затем — подростка, студентки и, наконец, молодого специалиста). Идея романа (для наименований глав использованы названия советских передач) — нарисовать портрет СССР и показать историю взросления души.

Автор

Вместо предисловия

— Ты должна рассказать про советские времена, — говорит моя старшая дочь.

Словосочетание «советские времена» произносится с трепетом, а глаза отдают волокной:

— Это правда, что каждый ребенок, начиная с пяти лет, мог свободно жить личной жизнью, то есть гулять во дворе в отсутствие выпущенных от страха глаз мамы, мог забежать между делом домой, схватить кусок хлеба с вареньем, запить водой из остывшего чайника и снова бежать на свободу?

— Правда.
— А правда, что в кино можно было сходять за пятнадцать копеек?
— Правда.
— А ты была пионеркой?
— Была.
— Хочу в СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА, — выдыхает дочь, и я понимаю, что портрет советских времен у нее явно неполный.
— Видишь ли, там, в Советском Союзе, ты никогда бы не смогла, скажем, слетать в Египет на весенние каникулы...

Лет пять назад она ещё не задавала таких вопросов.

— Ну, хорошо, не хочешь — не рассказывай, дай мне свой пионерский дневник.

— Ну, какой пионерский дневник...

Попытки подsunуть дочери некоторые «советские воспоминания» не устроили, прежде всего, меня, так как живописали «лицевой», столичный образ жизни с такими бытовыми чудесами, как «гастроном» и «пакет молока». В райцентре же на пятьдесят тысяч жителей, где я выросла и родилась, первый гастроном появился при Ельцине, а пакет молока (молоко разливали из гигантских бидонов и фляг) вообще возник только при Путине, я уж не говорю про апельсины и колбасу, за которыми в семидесятые совершались регулярные набеги в Москву... Или, скажем, в стандартном советском райцентре отсутствовала такая характеристика времени, как коммуналка: строительство шло только в мегаполисах. А бытие, как известно, определяет сознание, которое в кругу моих родителей почему-то отличалось склонностью к итальянскому Возрождению, Хемингуэю и патологическому пристрастию к чтению толстых журналов с последующим их обсуждением... И то сказать, чем еще заниматься интеллигенту в провинции? Без театров, троллейбусов и трамваев, без памятников архитектуры, концертных залов и гастрономов. Без радостей крупных городов, где человек гораздо быстрее остается в одиночной камере личного пространства и вынужден отвечать на собственные пыточные вопросы типа: выполнил ли ты техзадание на свою уникальную жизнь?

...А тут еще «комплекс провинциалки», обнаруженный мной при переезде из провинции в Ленинград.

В общем, села я писать этот самый «дневник пионерки», отчетливо сознавая, что жизнь в заштатном городке Советского Союза, конечно, безвозвратно утекла. Но ее еще можно реконструировать хотя бы здесь, в биографическом романе. Тем более структуру такого романа даже придумывать не нужно, достаточно изъять из памяти программу телевизионных передач, которая не менялась десятилетиями и набила хроническую оскомину. «Советский Союз глазами зарубежных гостей», «Москва и москвичи», «Международная панорама», «Сельский час», «Музыкальный киоск», внимание, главный перл! — «Больше хороших товаров». И, конечно, «Служу Советскому Союзу», «Человек и закон», «Мамина школа»... Что могу сказать? Смотрели, как миленькие. Телевидение (к которому только-только начали привыкать), насковзь идеологизированное и подцензурное, для девяноста пяти процентов населения оставалось единственным окном в мир.

Мой повторяющийся кошмарный сон, от которого просыпаюсь в холодном поту среди ночи: я возвращаюсь в городок своего советского детства на ПМЖ. В этом сне в купе стучит неизменный заспанный проводник и бросает устало:

— Ваша станция, город Шарья.

Глава первая «Мамина школа»

Почему я накануне рождения выбрала эту Шарью, мне ясно — из-за мамочки. Я выбрала маму как некую генеральную линию, а к ней прилагались Шарья и весь семейный клан, с которым я никогда не чувствовала ничего общего. Любить — любила, но вот чувства «это свои» не было никогда. Прапрадеды все — из деревни, прабабушки-прадедушки — умелые, толковые крестьяне, а я не знаю, как сажать чеснок...

Мамочкины родители, Голубевы Анна Павловна и Николай Федорович, которые мне заменили советский детский сад, переехали «в город» в 1938-м, незадолго перед рождением мамы, из пустеющей деревни Бычиха, что в десяти километрах от Шарья. Собственно, Шарья тоже была деревня, но удачно прицепленная к железнодорожной станции, и это не только не дало ей погибнуть, но даже позволило вырасти в обширный поселок, который за два года до их приезда как-то дотянулся до городского статуса. Мамочка тоже была «не своя»: хозяйство и огород не любила, не знала, как к корове подойти (корову мамы родители держали вплоть до моего рождения), беспрерывно сидела за книжками, да еще изучала «манеры», а после школы вообще заявила, что поедет поступать в институт. На семью, в анамнезе которой даже в училище никто не учился, это произвело эффект манифеста 17 октября, когда в «крепостной» России, последней в Европе абсолютной монархии, наконец-то были провозглашены гражданские права и свободы. То есть «народ» (младшие брат и сестра) ликовал, а «чета монархов» (родители), у которой отобрали власть, пребывала в сильном смятении. Это слово — ИНСТИТУТ — стало кошмаром и моего детства.

— Ты собираешься поступать в ИНСТИТУТ? — кричала мамочка, когда я в десятом лежала на диване с зачитанным томиком Конан Дойля. — Или ты хочешь быть дворником? Ты прочитала «Былое и думы»?

«Былое и думы» я прочла только сейчас. Фолиант, разумеется, входил в программу для поступающих на гуманитарные факультеты, но я тогда ничего не успевала, и мне его в Москве «на абитуре» пересказала обязательная мама! Читала днем страниц по пятьдесят, убористо конспектировала, пока я зубрила спряжения и синтаксис, а мне рассказывала на ночь... А в том постсталинском 1956-м, когда мамочка окончила школу, после долгих скандалов и прений было решено: ну, ладно, так и быть уж, Вологда, сельскохозяйственный...

Мамочка съездила в Вологду и, конечно же, поступила на какой-то там животноводческий, но к началу учебы судьба опомнилась, послала новоиспеченной студентке гнойный аппендицит в комплекте с молодым эффективным хирургом, так что, благополучно вернувшись из больницы, влюбленная в хирурга мама наотрез отказалась становиться потомственным животноводом. Нет, вы не поняли — романа не случилось. Вернее, он случился, но не с хирургом, а с медициной, до которой оставался еще целый, весьма смутный год. Как моя мама угадала свое призвание, ума не приложу. Скорее всего, оказавшись в больничных стенах, среди «своих», почувствовала странное, непривычное клокочущее чувство счастья за грудиной, где, по некоторым свидетельствам, обитает душа. Чувство это, кстати, никуда не делось, и мама до сих пор, в свои семьдесят семь, заведует кардиологическим отделением Шарьинской центральной районной больницы. И если говорить об их выпуске пятьдесят шестого, все были такие же, ненормальные. И родители тоже не подкачали. Нет, ну нормальные родители дадут детям имена: Гета, Лара (не Лариса!), Герман, Рада, Ангелина? И эта их невесть откуда взявшаяся рафинированность, которую они чувствовали и культивировали в себе, так что я на их фоне неизменно чувствовала себя крошечкой-хаврошечкой из какой-то другой сказки...

— Высоко забираешься — низко падать будешь, — крикнул дед, махнув изуродованной на фронте рукой, когда Геля, его любимая старшая дочка, настойчиво отказалась от Вологды. А бабушка от радости всплакнула: слава тебе, Господи, лишний год дома — может, и передумает. Но смутный год — пришлось устроиться на «макаронку», местную макаронную фабрику, а после смены сидеть за учебниками — пролетел, и мамочка засобиралась в Ярославль. В медицинский!

Правда, добраться до этого Ярославля оказалось проблемой: лето, все поезда проходящие, мест нет. А вместе с мамочкой перед кассой стоит еще пять человек, и все едут в мединститут. Каким-то чудом у этих

пяти обнаруживаются нужные железнодо-
рожные связи — у всех, кроме мамочки, —
конкуренты в последний момент уезжают,
мамочка остается одна и в слезах покупает
билет на Кострому, чтобы оттуда на пере-
кладных добраться до Ярославля. Не зная,
как утешить дочь, и забыв, что он сам ее от-
говаривал от этого Ярославля, мой дед Ни-
колай в сердцах произносит фразу, оказав-
шуюся пророческой:

— Не реви. Вот увидишь: ты поступишь,
а они — нет.

Первым при поступлении в ИНСТИ-
ТУТ было сочинение; мама его написала
на тройку, а конкурс — шестнадцать че-
ловек на место. То есть чтобы поступить,
химию, биологию и немецкий (тогда при
поступлении в медицинский сдавали ино-
странный) необходимо сдать на пять. Ну,
ладно, биологию, а как немецкий-то по-
сле шарьинской школы! К счастью, не-
мецкий этот был последним, после тройки
по сочинению в экзаменационном листе
красовались две пятерки — химия и био-
логия, — но, как назло, мама отравилась
колбасой и повторила лишь модальные гла-
голы. Которые, представьте, ей достались.
И мамочка пошла ва-банк, без подготовки,
что потрясло экзаменаторов настолько, что
ей сразу поставили «пять». Дальше — фи-
нальная сцена, которую без слез в нашей
семье не рассказывают. Место действия:
междугородный переговорный пункт горо-
да Ярославля. Действующие лица: Геля на
одном конце провода, Гелины родители —
на другом.

Телефонистка:

— Шарья, алло! Соединяю, говорите.

Гелю душат слезы.

— Алло! Доченька! — кричит бабушка.

— Ну, говори, ругать не буду.

Молчание (треск в трубке).

— Отойди, мать, дай лучше я сам, — вы-
хватывает трубку дед.

Она в семье своей родной казалась де-
вочкой чужой. И навсегда переломила эво-
люционный вектор этой чудесной крестьян-
ской семьи:

— Поступила!

Быль в тему. Едет моя коллега Наташа
Семенова по Европе, в Испании, кажется.
В автобусе знакомится с девушкой, и выяс-
няется: та — из Шарьи.

— О! — радуется Семенова. — Моя под-
руга Наташа Земскова, представьте, тоже
из Шарьи. Не знаете?

— Наташу я не знаю, — отвечает девуш-
ка. — А вот Наташину маму знают все!

Когда восторги улеглись, стали думать,
как учить дочку. В семье работал один отец,
мамина мама растила четверых детей, ско-
тины полон двор, какая уж тут работа... Ре-
шили: сколько-то высылать ежемесячно, ну
и, конечно, яйца, масло, картошку, морковку
возить, благо поезд прямой... Вот не знаю
второго такого студента, который отучился
исключительно в библиотеках, как мамочка.
Потому что в сравнении с коровником
и резиновыми сапогами по колено в грязи
библиотека — это рай, счастье. А Ярославль
в сравнении с Шарьей — Париж.

— Я ходила на каблучках по набережной,
по этим площадям и улицам, смотрела на
храмы и не могла поверить, что я — здесь,
учусь! И даже могу сходить в театр.

Потрясенная возможностями большого
города, мамочка с первого курса расписала
свою жизнь: понедельник и четверг — аба-
немент в филармонию, вторник — кино,
выходные — театр имени Волкова (где она
пересмотрела все раз по пять), в осталь-
ные дни — встречи с интересными людьми,
которыми жизнь шестидесятых буквально
кишела. Помните кадры из фильма «Мо-
сква слезам не верит», где Вера Алентова и
Ирина Муравьева на ступеньках кинотеатра
восторженно встречают актеров, а среди
них скромно прибывшего Смоктуновского?

Картинка явно списана из документаль-
ной хроники: подобными культурными де-
сантами пестрила вся жизнь хрущевской от-
тепели. Несколько лет назад страна, наконец

выбралась из сталинского кошмара, на дворе продолжительный мир, и все потянулись к культуре. К «культурке», как они говорили. Хотя «потянулись» — нет, не то слово. Бросились, окунулись, кинулись поглощать. И этой «эпидемией культуризации» были охвачены не только продвинутые студенты, а, например, молодые рабочие, служащие. И, конечно же, подмосковному Ярославлю доставалось больше других. Беру наугад любое мамочкино студенческое письмо, читаю: «Вчера были на встрече с известным поэтом Евгением Евтушенко, который три часа читал стихи. Стихи такие, что после них хочется работать над собой, хочется быть лучше... Многие мне неизвестны — нужно непременно взять и перечитать. Завтра идем на встречу с Марком Фрадкиным, а через неделю приезжает сам Григорий Чухрай!..»

Эти встречи были организованы так называемыми университетами культуры, которые в конце пятидесятых пооткрывались во всех крупных городах СССР. И обучаться в новых «университетах» желали все. Там, в удивительном Ярославле, мамочка познакомилась с живой классической музыкой, и первыми исполнителями, которых она услышала, были Эмиль Гиллельс и Давид Ойстрах.

Да нет, конечно, дело не в Гиллельсе и не в «известном поэте Евгении Евтушенко», а в том, что воздух в СССР того времени был какой-то особенный, в нем носились флюиды свободы... И то сказать — когда ещё в СССР можно было спокойно пожить-поучиться? В двадцатых и тридцатых убивали, в сороковых — война, после войны снова начали убивать... (Не оттого ли одна из первых передач «эпохи застоя» — «Мамина школа» — посвящена демографической ситуации? В передаче объясняют, как рожать и растить; непонятно, правда, кто её смотрит в три часа дня — все советские женщины детородного возраста до шести на работе.)

Конечно же, мама скучала по дому, особенно первый год; общежитие первокурсникам не давали, пришлось вместе с тремя другими девочками снять комнату. И как же часто ей снились Шарья, огород, их де-

ревянный дом! Однажды — мамочка проучилась месяца полтора — ей приснилось, что прямо сюда, вот на эту ярославскую квартиру, приехал ее папа: стоит и снимает пальто в прихожей. Сон был такой явный, что мамочка проснулась и с ужасом поняла: нет, не приехал, не приехал... Посмотрела на часы — рано, легла, закрыла глаза. И вдруг открывается дверь, входит хозяйка квартиры: «Геля, вставай, к тебе приехал папа». Как же она тогда радовалась! Еле еле дождалась конца лекций, чтобы скорей бежать к отцу. Тот, пока дочка была в институте, прошелся по магазинам, купил рыбы, зашел в какую-то столовую, попросил эту рыбу поджарить и вечером, когда девочки вернулись с занятий, накормил всех. А потом мамочка показывала ему Ярославль, институт и театр. И они вспоминали, как десять лет назад, когда моя мама и ее брат Леня были детьми, отец их возил сначала в Москву, а затем — в Ригу, хотел, чтобы дети «увидели мир и не чувствовали себя провинциалами»...

Очень скоро мамочка обнаружила себя в лучших студентах курса и с этим открытием приехала домой на очередные каникулы:

— Знаешь, Надь, — озадаченно заявила она младшей сестре, — мы не знаем себя и не понимаем, что мы — лучшие. И, значит, поступать вы с Ленькой поедете в Москву.

Конечно, она ни за что бы никогда не вернулась — осталась бы в аспирантуре, но тут судьбе и форс-мажоры вроде приступа аппендицита не понадобились, так как на сцене давным-давно присутствовал мой папа. Папа, Юра Земсков, появился в Шарье (и в маминой школе) классе в восьмом, после семи лет жизни и учебы в интернате города Магадана, и с места в карьер влюбился в эту правильную строгую девочку с косами. Он, конечно, не понимал, что влюбился — ну, не видел никого, кроме этой Гели. Когда папу в девяносто пятом хоронили, интеллектуалка Лара Решетникова рассказывала:

— В Юру сразу влюбились все — ну как же, умница, остряк, радийщик! К тому же чудно рисовал. Но он был однолюб, причем патологический.

Папа, как и положено, начал вести разговоры о свадьбе, боясь, чтобы его сокровище не отобрали, не увели в этом ужасном Ярославле, но мамочка сказала:

— После ИНСТИТУТА.

Ну, а дальше эпистолярный роман: Юра учился в Кировском политехе и при всякой возможности мчался к НЕЙ. Это было лучшее время, но... С тех пор, как история страстной любви моих родителей мне была пересказана в разных редакциях, я поняла: была, была мудрость в добровольно-принудительных браках по расчету, когда жених и невеста в лучшем случае не испытывали друг к другу никаких внятных чувств. Ибо если есть страсть, вас, скорее, заманивают. Для цели, которую принято называть высшей. Ну, скажите, как таких, как мамочка, другим способом отправить в такие места, как Шарья, в качестве ангела быстрого реагирования? А у них, этих ангелов, миссия: любить, лечить, спасать. И если б их туда не направляли, там вообще ничего бы не было, ничего...

Дом, в котором я выросла, — первый благоустроенный дом в Шарье, хрущевская пятиэтажка для врачей в Больничном городке. Открыли больницу — построили дом, в котором нам дали квартиру. Тогда квартиры только давали. Двухкомнатная! С ванной! С туалетом! И с паровым отоплением. На шестиметровой кухне уютилась маленькая печка. Топили эту печку нарезанными деревянными брусками, залежи которых обосновались в нашем дворе. В залежах тут же завелись крысы, и созерцание крысиной деловитой жизни входило в топ^{А2} забав моего дворового детства. Года через три печки выломали — провели газ, и это был социализм, конечно. Кого не заманили в Шарью любовью, как мамочку, сагитировали благоустроенными квартирами, и началось что-то вроде продолжения веселой студенческой жизни: кругом свои, врачи, а если не врачи, то педагоги либо инженеры. Это сейчас у нас принято не знать соседа напротив, а тогда весь подъезд был и стол, и дом, и родня.

В сельской Шарье существовало два гетто интеллигенции, две резервации — Больничный городок, резервация абсолютная,

изолированная темным лесом от города, и Военный городок на улице Пятидесятилетия советской власти, резервация относительная и с этим городом взаимодействующая. Из первого призыва больничного гетто — Земсковы, Федоровы, Веснины, Крыловы, Поповы, Каверины. Да, Чиненовы, непременно Чиненовы. Образы первопроходцев почему-то четко рифмовались с образами известных личностей, тиражированных в коллективное бессознательное. Вика Чиненова, гинеколог, — точная копия Марины Влади. С дочкой Чиненовых Юлькой я провела свое раннее детство, пока ее родители не повлюблились, поразвелись, и красotka Вика не умчалась с Юлькой в Гатчину, где срочно требовались врачи. Таких, как Вика, сбежавших, впрочем, были единицы. Большинство оседало в Шарье прочно и навсегда, понемногу меняя ее структуру... Попов Владимир Павлович — Кирилл Лавров, любимец женщин. Как Поповы, не имевшие к медицине никакого отношения, затесались в наш дом, понятно: Владимир Павлович был заместителем председателя райисполкома¹, остро тяготеющим к интеллигенции и «разговорам». С моим отцом они проговорили, кажется, лет десять, а когда зуд общения поутих, просто молча сидели и выпивали, изредка перебрасываясь цитатами. Жена Владимира Павловича Августа Павловна, в просторечии Гутя, к интеллигенции никаким боком не относилась, но отменно готовила и была настолько остра на язык, что ее справедливо боялся весь двор. Все, кроме меня. Проживая на одной лестничной клетке через стенку (мы в седьмой квартире, Поповы — в восьмой), мы с Гутей быстро сделались союзниками. Когда Владимир Павлович, которого Августа Павловна звала САМ, находился дома и трезвый, она была в веселом расположении духа и готовила беляши с мясом. Беляши, если кто не знает, это жареные «плюшки» из теста с домашним, тающим во рту фаршем. Если же САМ отсутствовал, то в худшем случае он находился в загуле, а в относительно плохом — у соседа Витьки Мишнова, этажом выше. Самой Гуте в который раз идти к Мишновым не хотелось, и она посылала меня:

— Сходи, моя хорошая, позови дядю Володю. А дядю Витю не зови — терпеть его не могу.

Я, четырехлетняя, отправлялась к Мишновым и простодушно докладывала:

— Дядя Володя, срочно идите домой. А дядю Витю не надо, тетя Гутя его терпеть не может...

Понятное дело, я Гутю любила за белыши и прямолинейность. А Гутя любила меня, потому что любила, и даже хотела женить на мне своего единственного сына Пашку. Пашка был много старше (на целых пять лет), не «свой», но отказаться было нельзя, и я решила: как-то рассосется. И действительно, в круг Пашкиных интересов я перестала входить очень скоро, что не мешало нашим родителям полусерьезно заводить разговор на эту бесперспективную тему.

Вот написала: не водились в советских райцентрах коммуналки. Но это не так. Местами, конечно же, коммуналки наличествовали... Не благородные, как в Петербурге Гоголя и Достоевского, не сталинские, как в Москве и городах-миллионниках, а обычные, в деревянных домах-бараках времен заводских поселений. Да и наш больничный дом — разве не коммуналка? Родители могли ночь напролет петь под гитару у Чиненовых (Вика была замужем — вы подумайте только! — за летчиком), а мы с Юлькой спали у нас, перекусить заходили к Поповым или к Федоровым, а после всем двором отправлялись на огороды, копать картошку, или в лес, на пикник. Слово «пикник», впрочем, никто не употреблял, говорили — «зеленая». Поехали на зеленую? А, поехали. Чего и ехать — лес вокруг, который сразу нарекли «парком».

Виктор Михайлович Крылов — теперь его именем в Шарье названа улица — это вообще отдельная тема. Хирург, остряк, мегазвезда[^], внешне он вроде как ни на кого и не походил, но его энергетика была энергетикой Владимира Высоцкого, точно Высоцкий одновременно жил в двух телах — своем и Крылова. Крылов знал о Высоцком все, что выходило и не выходило — коллекционировал, но главное — сквозь тонкие стены

крыловской квартиры день и ночь раздавался хриплый голос Владимира Семеновича. Мамочка говорит: мы остались здесь из-за интеллектуала Крылова, который никогда «не жил простой бытовой жизнью и обладал невероятной силой притяжения».

Валентин Федорович Каверин, как и положено главному врачу ЦРБ, являлся точной копией сановного партийного лидера — отчего-то, правда, китайского, Мао Цзэдуна. Злые языки так и звали его за глаза — «Мао». Наш «Мао», именем которого теперь называется Шарьинская ЦРБ, как и ИНСТИТУТ, стал кошмаром моего детства: когда мы переехали в квартиру «ненавистного» Мишнова, а Мишновы — в подобие особняка, Каверины оказались под нами, и это обратилось в ежевечернее мамочкино беспокойство — не топайте, не стучите, не прыгайте!..

По идее, молодым супружеским парам, перманентно находящимся под одной крышей хрущевки, должны быть прописаны хронические междоусобные романы. Отнюдь. То есть что-то наподобие романов, наверное, случалось, но только где-то на периферии и фрагментарно-пунктирно, не влияя на жизнеустройство. Пару раз уходила от своего любвеобильного Мао Цзэдуна образцовая жена Клавдия Ильинична. Настоящая первая леди, Клавдия гордо забирала детей и уезжала «навсегда». Регулярно, до самой смерти мужа, билась с соперницами и с САМИМ Гутя Попова. И только Вика Чиненова оставила своего мужа-летчика и уехала с анестезиологом Савельевым, так и не выйдя впоследствии за него замуж.

А мамочка? Мамочке и без романов забот хватало. Очень быстро она стала заведующей, брала полторы ставки и вечно дежурила. Как истинно врачебные дети, мы с братом болели «не по-человечески». Я, например, в возрасте неполных трех лет перенесла ужасающий аппендицит, который еле-еле обнаружили. Все началось с ОРЗ, поэтому, когда меня стало тошнить, об аппендиксе никто не подумал. Решили: отравилась, пройдет. Но когда через пару дней в моих глазах появилось что-то туманное,

и я чуть не потеряла сознание, мамочка помчалась в больницу. И вот тогда величественный «Мао», талантливый хирург и диагност, сказал:

— Если бы это была моя дочь, я сейчас бы пошел оперировать.

Когда меня хлороформировали, я орала как резаная и звала на помощь деда Михаила, своего главного защитника, папиного отца, а мамочка кричала:

— Усыпайте ее скорей!

Каверин с Крыловым меня разрезали, и распухший от гноя аппендикс лопнул в руках у хирургов. Господи, ведь они были совсем молодые-зеленые, ну, где-то лет по двадцать семь... Мамочка рыдала, бабе Нюре стало плохо, потому что в этой семье слишком хорошо знали, что такое детская смерть. Потому что был Боря.

Боря Голубев, младший брат мамы, послевоенный ребенок, которого бабушка Нюра родила «поздно», лет в двадцать восемь. Аборты в СССР с тысяча девятьсот тридцать шестого по тысяча девятьсот пятьдесят пятый были запрещены, и после Бори она, как многие здоровые сельские женщины, сделала «стерилизацию», сходяв к местной бабке, которая что-то вливала им в матку. Четверо есть — слава Богу, и больше баба Нюра не беременела. Как все советские дети, Боря гулял один лет с пяти-четырёх и однажды решил прокатиться, ухватившись за борт лесовоза, и сорвался под заднее колесо... Когда раздавленного Борю везли на скорой, он еще дышал, но мучился совсем недолго. И вот всю ночь накануне похорон моя бабушка сидела за швейной машинкой и шила ему костюмчик. Жили бедно: Боря донашивал вещи брата и сестер, ничего нового у него не было, даже в гроб положить было не в чем. Тогда ему первый раз купили и новую обувь — сандалии...

Вот это первое мое воспоминание — перерезанная широчайшим белым поясом, я лежа ем больничный суп, и мне легко. Вокруг меня мои родные, бабушки и дедушки, и в их глазах я вижу слезы.

Страх за детей — главный страх маминой жизни. И моей. И моей тети Нади.

И двоюродной сестры Оли. И всех других по женской линии. С этим страхом я однажды ходила на модную психологическую «расстановку» по Хелленгеру, чтобы, значит, убрали, и они сразу, не зная анамнеза, достали смерть Бори. И мне стало легче, чуть-чуть...

— Как ты можешь жить рядом с моргом? — спрашивают меня редкие одноклассники, вдруг оказавшись в нашем «больничном гетто».

— Рядом с моргом? Отлично, — смеюсь я и неизменно добавляю: — Вчера вот привезли утопленника; распух, конечно, дядечка, и ноги желтые, но лицо обычного цвета.

Нельзя сказать, что, гуляя на улице, мы контролируем ввоз всех покойников, но заглянуть внутрь «скорой», которая только что прибыла со страшным грузом, — это всегда. На территории Больничного городка находятся морг, здание больницы, инфекционное отделение, овощехранилище, пруд, наш дом и кочегарка. На самом деле это «дворец», «мавзолей», «море» и «катакомбы»... Вокруг больницы можно гулять и ездить на велике — есть дорожки. И мы гуляем круглый год вместе с больными. Больница — город в городе. Возвращаясь из школы, мы заходим сюда к кому-то из мам и лишь потом идем к себе. В больнице есть чудо из чудес — большой квадратный лифт, единственный в городе образец. Если упростить бабку-лифтёршу, можно и прокатиться, предварительно закупорив тьму громоздких дверей. Но самое интересное в здании вовсе не лифт, а спрятанный в цокольном этаже аптечный склад. Если удаётся проскользнуть незамеченными через приёмный покой, мы ныряем по лестнице вниз и в тусклом подвальном пространстве находим нужную дверь. Склад состоит из бескрайних шкафов, выдвижных полок и ящиков, где прячутся несметные богатства — мириады стеклянных пузырьков с пенициллином, километры блистеров с таблетками, горы вита-

минов, склянки с настойками, залежи йода и ваты. Если ты добрался до склада, то бояться уже нечего — здесь работает Марчина мама, все богатства — её, то есть наши. Тётя Лида сидит на высоком крутящемся стуле за гигантским столом и занимается разбором препаратов, которые легко могут поставить на ноги больного, а могут и отправить на тот свет. Мы ходим вдоль стола, пытаюсь прочесть надписи на латыни, пахнущие средневековьем и волшебством. Тётя Лида достаёт склянки, взвешивает порошки на воздушных аптечных весах, нужное количество отправляет в колбу, добавляет жидкость и прячет в тёмный шкаф под замок. Иногда порошка требуется буквально пара крупинок, но и крупинки отмеряются и взвешиваются перед тем, как отправиться в цепь превращений. Наша с Марчей несбыточная мечта — оказаться запертыми в этом чудеснейшем месте и проверить все полки. Мы уверены: всё, что здесь есть, оживает после захода солнца. Главная начальница склада — ни за что не догадаетесь — дистиллированная вода, раздувающаяся от важности в большой прозрачной банке. Прожужжав всем уши о своей уникальности, вода стоит во главе стола (а не в каком-то шкафу) и больше всего на свете боится испариться. Когда она в плохом настроении, то грозит всех растворить и смыть вон из подвала. Над водой втихомолку смеются антибиотики, сделавшие революцию в медицине, и жгучий спирт, без которого никуда, но дистиллированная вода презирует и спирт (в разведённом виде стоящий во всех винных лавках), и всех остальных. Один старик тальк пытается выслушать и примирить вздорных соседей. Он-то как старожил знает, что самыми важными аптечными препаратами считаются те, что хранятся в сейфе напротив, код от сейфа держится в тайне и часто меняется. Главный праздник на складе случается по вторникам, когда происходит завоз препаратов. Все ждут чего-то необыкновенного и нового, но, как правило, привозят «челядь» — фурацилин, аспирин, парацетамол, которые никогда не задерживаются и никого не интересуют. К вита-

минам тоже всерьёз не относятся, уважают тех, кто поступает в штучном порядке и выдаётся строго под роспись. Исчезни хоть одно такое вещество — и на тебе, скандал на всю больницу, как случилось полгода назад, когда препарат из сейфа кто-то случайно переложил в шкаф. Раз в месяц жители склада устраивают бал, когда спор честолюбий прекращается и препараты выходят из своих углов в свет. Впрочем, свет — это, конечно, условно. Балы устраивают ночью, так как дневной свет разрушает почти все лекарства... Но и без балов ночная жизнь в подвале кипит. Тётя Лида сама говорила, что старается не оставаться на складе одна. Вот буквально на днях приготовила лекарство, поставила в шкаф, а наутро оно оказалось совсем в другом месте. Или вот месяц назад исчезли все только что полученные копы для забора крови: нужно отправлять в отделения, а копы — как корова языком слизнула. Нашлись потом в просроченных лекарствах, которые до этого перебирали раза три. А сколько раз бились круглые колбы внутри шкафа, заполняя пространство едким дымом и запахом, словно им легче погибнуть, чем покинуть это подземное царство...

Выдворить со страшного склада нас можно только одним способом — нагрузить глюкозой и аскорбинкой, сиропом шиповника и таблетками из черноплодки. Всё это мы рассовываем по карманам, чтобы сгрызть по дороге.

В Больничном городке я и четыре мои подруги растем, словно в оранжерее, и только поступив в ИНСТИТУТ, узнаем: знакомые мальчики нас называли «парковские девочки», что значило особенные, задавали, интеллигентки, с запросами...

В этом больнично-«дворянском» раю у нас да еще у Кавериных есть телефон. Каверин — главный врач, понятно. А нам его поставили из-за папы, который возглавляет местный радиоузел. И вот, представьте, такая роскошь в наличии, а позвонить ты никому не можешь. Чудо-телефон звонит в основном ночью, и мамочка привычно диктует дежурному врачу:

— Два кубика того, три кубика этого, нет, это отменить совсем... Кубик вот этого вну-тривенно... Сделали? Выхожу...

Глава вторая «Алло, мы ищем таланты!»

Выживать в таких городах, как Шарья, можно было тремя способами.

Способ А — служить. Как, например, служила (служит) людям мама. Кому, чему служить — неважно, главное — служить. Моя бабушка Антонина Васильевна Земско-ва, например, всю жизнь прослужила сво-ему мужу — прожила девяносто пять лет. А баба Нюра прослужила нам.

Способ Б — пить запойно и страшно. Пьют все — молодые и старые, мужчины и женщины, соседи, родня и чужие. История романа с алкоголем в моей семье — стан-дартная и длинная, включая основных до-машних персонажей. Потому что не пить невозможно. День сурка начинается осе-нью, где-то так в октябре, но если, скажем, в Петербурге дожди «креативненько смо-тятся» на фоне архитектуры Воронихина, то у нас, на фоне больничного морга, двухэ-тажного универмага «Спутник» в центре го-рода, убогих домов и заборов — это тоска. Вот почему у меня в школе были сложности с географией? Да среди октябрьских-но-ябрьских дождей просто нельзя, невозмож-но было поверить, что на земле, кроме СССР, например, существуют Египет и Индия. Про Америку, которая располагалась где-то там, на Луне, я уже не говорю. А «банальная» Турция, связанная в нашем сознании с ека-терининскими русско-турецкими войнами? Кто-то из советских детей думал, что их че-рез двадцать лет примутся доставлять само-лётками в эту Турцию из учебников истории... не летом... нет, в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА?

...Ну, хорошо, не пить — значит гулять, крутить романы. Покинув Шарью в возраст-е восемнадцати лет и главные женские годы проведя в Ленинграде, а после — в Перми, я не могу ссылаться на собственный опыт, но слухи... Слухи свидетельствуют о том,

что в романы в таких городах, как Шарья, бросаются истово, самозабвенно, с извест-ной рифмой «кровь-любовь», ибо за та-кими играми, как «карьера» и «деньги», все уезжают в столицы. И только единицы спасают свою жизнь самым невероятным и не дающим быстрых результатов спо-собом — творчеством. Времени в нашей провинции много, его куда-то надо девать, и творчество — самые подходящие инве-стиции... Все годы «развитого социализ-ма» наша центральная районная больница пела в хоре. Пела хирургия и гинекология, травматология и инфекционное, реанима-ция и терапия. Песни были военно-патри-отические либо просто патриотические. Как сейчас вижу: на сцене ДК железнодорожни-ков — внушительных размеров хор; в нем мамочка с высокой прической, в длинной черной юбке и кружевной немецкой блуз-ке с гофрированным рюшем. Так же, как мамочка, в хоре одеты все женщины: все в блузках, все пахнут «Красной Москвой», все поют, устремив взор:

*Эй-э-х, дороги, пыль да туман,
Холода-тревоги да степной бу-урьян...
Выстрел грянет — ворон кру-ужит,
Твой дружок в бурьяне неживой лежит.
Знать не можешь доли своей —
Может, крылья сложишь посреди
сте-еней...*

Это называется смотром художествен-ной самодеятельности и повторяется еже-годно накануне Октябрьской, то есть седь-мого ноября. Демонстрация, на которую обязаны выйти все предприятия, организа-ции и учебные заведения, закончена; после нее — концерт. В зале яблоку негде упасть. Поют наши родители и в самом деле не-плохо, после песни про бурьян у мамочки в глазах всегда слезы. Коллективное твор-чество поощряется и служит механизмом разных манипуляций (не будешь петь — лишим премии). Смотры худ. самодеятель-ности, преследующие меня всё пионерское детство, подразделяются на местные и Всесоюзные и в какой-то момент эволюци-

онируют до музыкальной передачи «Алло, мы ищем таланты!». «Таланты» смотрят все от мала до велика, и действительно, эта программа, которую ведёт очень естественный и какой-то «не очень советский» Александр Масляков, бьёт все рекорды популярности. Никаких хоров здесь, естественно, нет — одна эстрада, от которой так и веет чем-то забугорным и запретным...

Но были, были и по месту жительства индивидуальные творцы! Главным таким творцом по праву считался отец моей подруги Марчи Владимир Михайлович Федоров. Как-то сразу стало понятно: Федоров — художник, несмотря на то, что работает фельдшером в СЭС³. Понятия не имею, отчего этот человек, прямой потомок владимирских богомазов, не пошел ни в какое художественное училище, а выбрал медицинское. Видимо, чтобы а — обеспечить своей семье кусок хлеба, и б — встретить чудесную Лиду. Лидочка Федорова была той самой идеальной женой, которую могут дать только за очень большие заслуги. Во-первых, молчаливая красавица. Единственное, что ее портило — заметная хромота на одну ногу, которую все переставали замечать ровно через неделю ввиду невероятной доброты Лидии Петровны. Мамочке Лида Федорова, фармацевт со средним образованием, из медицинской субординации говорит «вы», «Ангелина Николаевна», а та ей — «Лида», «ты». И это несмотря на то, что мы с Марчей неразлучны, как сиамские близнецы. Во-вторых, Лида оказалась круглой сиротой и детдомовкой, к тому же из Амурской области, которая ближе к Америке, чем к Шарье.

С Амурской областью история такая. Когда в тысяча девятьсот шестьдесят вторым Федоров окончил Ветлужское медицинское училище, комсомольские боссы, сидя в московских кабинетах, кликнули клич: поможем Дальнему Востоку молодыми специалистами! И Федоров в числе сорока добровольцев отправился через всю страну — помогать. Там он встретил свою Лиду — как магнитом, их притянуло друг к другу — и привез к родным, в Шарью. Огромный Лидочкин фотопортрет с ромашками тех, счастливых,

времен, изготовленный мужем, неизменно висит у них в красном углу, над диваном. На портрете дивной красоты любимая женщина, а то, что она в этом кадре абсолютно любима, понятно даже нам, малявкам, и мы, замороженные этой силой любви, не сводим глаз с чудесного портрета...

Федоров, ко всем прочим достоинствам, надо сказать, еще и отменный красавец; косит, правда, на один глаз. Но что такое косоглазие в сравнении с ростом, правильными чертами лица, статью!.. Только потом, значительно позже, я узнала, что его косоглазие — это вовсе не косоглазие, а почти полное отсутствие глаза, потерянного при удивительных, прямо-таки библейских обстоятельствах. В шестилетнем возрасте Федоров вздумал поиграть с иконой и зачем-то «выколол» глаз на лике Николая Угодника. Мальчика отругали, икону отобрали, а через неделю, когда он натягивал струну на балалайку, струна лопнула и пронзила ему зрачок... Когда мы жили в седьмой, по соседству с Поповыми, квартире, Федоровы находились под нами, и уж прыгать над Федоровыми можно было всласть. Лида с детьми — Марчей и Вовкой — размещались в маленькой, спальне, Владимир Михайлович, в майке и семейных трусах, — в «гостиной» со своими работами маркетри. Все выходные, вечера, ночи и праздники Федоров сидит за журнальным столом и рисует, чертит, вставляет из шпона невесомые крохотные детальки. У Федоровых вечно пахнет лаком, и мамочка беспокоится: «Девочки, играйте у нас!» Крылов, Веснин, Виноградов, Попов — на охоте, Земсков, Чиненов — на рыбалке, а Федоров — за столом. В углу гундосит черно-белый телевизор с его единственной программой (вторая-то появилась уже при Путине, в нулевые!), из кухни в спальню то и дело носимся мы и хромает удобная Лида, а Владимир Михайлович знает только свое. «Японское море», «Молодость», «Гусляры», «Пряхи», «Черный лебедь», «Ленин» — Бог ты мой, ну, куда же без Ленина? Все его лучшие работы сделаны на наших глазах. Когда очередная готова, Федоров подзывает нас с Марчей и спрашивает:

— Можете сосчитать, сколько оттенков в картине?

Мы принимаемся загибать пальцы, затем, чтобы не сбиться, рисовать палочки на бумаге, тратим тетрадный лист и все равно сбиваемся со счета, ведь оттенков дерева — множество. Где автор их берет, непонятно. Шпон, даже самый простой, достать невозможно, Федоров крутится, как может, и однажды мужики с Кировской спичечной фабрики в подарок раскатывают ему целое осиновое бревно: надо? — бери... Мебель на кухню — с «русскими человечками» и невероятными елками, которая чудесно открывалась-закрывалась, — он тоже сделал в маркетри, а когда переезжали в трехкомнатную, в соседний подъезд, оставил новым жильцам. Не вырывать же, в самом деле, с мясом.

Я даже не могу назвать это хобби. Маркетри — его страсть, дело жизни. Свои работы Федоров — кстати, он автор и герба Шарьи — раздавал направо-налево, но в основном они оседали у Поповых, Мишиновых и других шарьинских друзей — тире партийных начальников (и никому не приходило в голову за них платить!). Чуть позже эти картины появились у нас. Как художник Владимир Михайлович рано понял, что любой результат есть процесс, непрерывность во времени. Только она, непрерывность, даст плоды и известность. И он не прерывается, совсем. Иногда, правда, как все, запивает, ненадолго, дня на два, и тогда отправляется «на прием» к первым леди Больничного городка — жене Мао Цзэдуна и мамочке.

— Представляешь, — рассказывает Марча утром по дороге в школу, — отец вчера напился и упал в прихожей у Кавериных.

— Не может быть, — замираю я. — И?

— Поспал, потом Клаваделинична привела...

«Клавдия Ильинична» — это было не выговорить, говорили в одно слово — «Клаваделинична».

Казалось, что падение в прихожей каверинской квартиры — конец всему, но ничего, все как-то забывается-образовывается,

до очередного федоровского запоя далеко, а до «первых леди» — тем более.

Быль в тему. Встречает наша нянька, соседка баба Лиза, глубокая старая дева, мамочку с работы с вытаращенными глазами и страшным шепотом докладывает:

— Ангелина Николаевна, матушка!.. Я такое услышала, такое!.. Сидела с Вовчиком у Федоровых — Федоров, Попов, ну, и ваш — выпивали на кухне. Федоров-то, бесстыдник, и говорит: «Как хочется жене изменить! Просто страсть...» — «Поди да измени», — зевает ходок Попов. А ваш-то, молодец, стал отговаривать: «Ну, что ты, Владимир Михайлович, здесь же все сразу узнают!..»

Это к вопросу о нравах и силе провинциального общественного мнения.

Однажды, когда мы с Марчей учились классе в седьмом и были по делам с ее отцом в городе, он зачем-то, видимо из куража, потащил нас к своей коллеге Татьяне, много моложе его. Неизвестная нам Татьяна жила в общежитии, добротном трехэтажном деревянном здании возле железной дороги. Я, выросшая на печках у бабушек, об общежитиях имела самое смутное понятие, идти было немного страшновато, но оказалось — зря. Внизу сидела уютная старушка вахтер, у Татьяны было чисто, бедно и тихо, и нам сразу понравился и запах деревянного здания, и липы за окном этой странной реальности. Во всем этом визите остро чувствовалось что-то запретное, тайное, непонятное, а оттого невыразимо притягательное... Договоренности с Татьяной явно не было: несколько обалдев, она организовала чай, но говорить почти не говорила — выступал один Федоров. Текст, как я понимаю, был какой-то беккетовский, паузы — мхатовские, нам в этом шапито отводилась роль зрителей, и она была выполнена блестяще.

К финалу Федоров открыл шампанское, разлил по бокалам и бросил небрежно:

— Знакомьтесь, девочки, моя любовница.

Не знаю, что меня шокировало больше — первое в жизни шампанское или эта Татьяна, которая горячо принялась убеждать нас в обратном. Дешевле было просто не поверить (Федоров нас ни о чем не просил), что мы и сделали, никогда, ни дома, ни между собой не вспоминая о том странном случае. А на Татьяне после многолетних отношений он все же женился — Марча тогда училась курсе на втором, — у Федорова в этом браке родился еще один сын, но Владимир Михайлович нет-нет да захаживал к Лиде, считая ее кем-то вроде сестры или тетки.

Он был артист, и эта артистичность принимала порой самые одиозные формы. Закатиться к жене «Мао Дзэдуна» пьяным в стельку или зарулить к любовнице с дочкой-подростком и ее подружкой — это так, семечки. Когда мы были маленькие, Федорову в голову пришла гораздо более дикая мысль — сделаться фокусником. Обзаведясь самоучителем и изготовив реквизит из оргстекла в духовке, он сколотил программу с картами, шариками, платками, видимо, показал ее на худсовете в ДК железнодорожников, главном местном очаге культуры, и, получив одобрение, отправился по деревенским клубам. Пару раз взял и нас — запросились! — и мы были поражены бурной реакцией зрителей. Он и здесь проявил упорство: пошли «фальшивые деньги», «исчезнувшее» из кувшина молоко и разные другие чудеса, с которыми Федоров даже ездил на конкурсы. С машинкой для «печатанья» денег он мог от скуки заявиться в магазин и, сокрушаясь на кассе, что средств опять не хватает, кинуться их «печатать» прямо здесь, доводя кассиршу до обморока. Дальше этого, впрочем, не пошло, да и дело жизни требовало серьезных вложений.

Федоровские работы довольно известны, и эта известность, что называется, пришла к нему пешком — после десятилетий дарений пошли-таки серьезные заказы. А когда приехали из службы охраны президента и заказали политическую карту мира, полтора

на два с половиной метра, стало ясно: это признание. Когда пришло время интернета, художник заказал сайт, картинами заинтересовались, и даже нарисовался продюсер. Шарьинские власти организовали выставку в США, но отчего-то работы поехали одни, без создателя. Ну и что — спросите вы, — получил автор-самоучка хоть что-то за десятилетия возни с этим шпоном? Думаю, не очень много, если гонорар измерять в денежных знаках. Ни особняков, ни машин, ни особых накоплений у Владимира Михайловича нет. И — целое состояние, если учитывать все остальное.

Давно нет моего отца... Нет спасших меня Виктора Михайловича Крылова и Валентина Федоровича Каверина, нашего «Мао Цзэдуна»... Все они подтвердили страшную статистику продолжительности жизни советских мужчин, не дожив даже до пенсии. Давно нет Владимира Павловича Попова, нет Виктора Мишнова, ненавидимого Гутей. И Гути тоже нет. Несколько лет назад похоронили моего «жениха», пятидесятирехлетнего Пашку Попова... А художник Федоров пережил их на целую жизнь: так изменил жене, женился на Татьяне, под пенсию родил ребенка, дождался взрослеющих внуков. Почему, я вас спрашиваю? Потому что, видимо, Федоров, как и моя мама, правильно собрал из пазлов картину своей жизни. И, судя по всему, Николай Угодник простил его, а Господь Бог оценил федоровские работы.

Глава третья «Больше хороших товаров»

В этой передаче, транслируемой в самое провальное время, какие-то аккуратные технологи, напоминающие Шурика из «Кавказской пленницы», на фоне ползущих конвейеров бодро повествуют о чудесных промтоварах вроде сапог фабрики «Скорход», пылесоса «Ракета» и холодильника «ЗИЛ». О еде речи нет, еда только в Москве, а в глубокой провинции — продуктовые магазины.

В больничном гетто нет и магазинов, продукты приходится тащить из города, куда ходят один-два автобуса. Но не помню, чтобы кто-то тащил. Продукты завозились с базы, ящиками, по блату, если дело касалось рыбы, консервов и фруктов, и приносились в коробочках и пакетах, если это были деликатесы. «Блат» и «достать» — ключевые советские термины, ныне исчезнувшие из обихода; что-то достать можно только по блату, имея знакомства. Молоко и мясо все покупают у частников в близлежащих деревнях, которые до сих пор интегрированы в Шарью. За колбасой и апельсинами ездят в Москву. На магазины отводится только хлеб, но, кроме хлеба и морской капусты, в магазинах ничего и нет.

Конечно, все как-то устраивались. У всех участки по шесть соток, и кто-то из родни всегда работает в торговле. У нас, например, бабушка Антонина Васильевна, мать моего папы, работала на торгово-закупочной базе — ТЗБ. О Шарьинская ТЗБ! Сколь убого выглядело бы без тебя мое детство! Мы с братом обожаем бегать к бабушке и деду. Сын у них единственный — мой отец, мы — единственные любимые внуки, из-за которых, с точки зрения бабы Тони, ей приходится конкурировать с мамочкины-ми родителями. О конкуренции она не забывает, и для нас, помимо домашних яств, всегда припасены и венгерский компот, и сезонные фрукты, и коробки конфет «Рот Фронт». Подарки на день рождения, гэдзэровские куклы и детская керамическая посуда — тоже, естественно, с базы. Бабушка, не любящая лишних трат и полжизни прохажившая в одном пальто из темно-синего бостона, трудится на складе верхней женской одежды, самом дивном в Шарье месте. До нарядов мне, семилетней, нет никакого дела, но я обожаю бегать по гигантскому неотопливаемому складу и бросаться в объятия черных цигейковых шуб и пальто с воротниками из чернобурки. Здесь, как на чудо-дереве, растет все, и я мерю эти меха до самозабвения, пока бабушка не отыщет меня в дальнем углу и не примется ликвидировать последствия моего загула. На складе

холодно, освещение — одна лампочка, баба Тоня к вечеру устает, но никогда меня не ругает и позволяет играть с казенным имуществом. Меха вскоре мне приедаются, и я отправляюсь в соседние сферы, к бабушкиным подругам — на склады обуви и головных уборов. Главное — не попасться на глаза страшному директору Иван Иванычу, которого я видела всего один раз, но всегда о нем слышу. «Спрошу Иван Иваныча...», «Как Иван Иванович скажет...», «Нет, этого Иван Иваныч точно не разрешит...». Директор ТЗБ зовётся Иваном Ивановичем, как все фольклорные толстые, лысые советские директора, известные нам из карикатур журнала «Крокодил», но внешне он, высокий и стройный, советских директоров отрицает. Как я сейчас понимаю, этот Иван Иваныч не только жил сам, но давал жить и многочисленным своим сотрудникам, которые весь день работали на холоде, были жутко материально ответственны и вечно находились под прицелом вождедеющих глаз родни. Наигравшись на складах до одури, я сажусь за новую разлинованную амбарную книгу, которую мне дают на растерзание, и делаю там некоторые «записи», после чего мы с бабушкой идем на автобус, который появляется редко, раз в час, возвращаемся домой, долго ужинаем и ложимся вместе на бабушкину перину. Оказавшись в тепле, баба Тоня начинает клевать носом, но мужественно рассказывает мне сказку, на середине которой всегда засыпает, чтобы утром снова вернуться в холодный, продуваемый всеми сквозняками склад.

База — источник не только моего счастья, но также мамино и Надино. Мамина сестра Надя, которая давным-давно живет в Москве и работает главным инженером на фабрике крашения мехов, на девяносто процентов одевается дома, в Шарье, на московские магазины у нее просто нет времени. Батники, платья «сафари», японские плащи-пальто, итальянские сапоги — это все ТЗБ, баба Тоня. Вход на базу посторонним, естественно, запрещен, но с разрешения Иван Иваныча бабушка носит наряды домой, чтобы мама и Надя могли

что-то выбрать и выглядеть. В магазинах-то выбора никакого нет, одна «прощай, молодость» — войлочные боты на толстой резине. Это и понятно: пока товар доберется до заштатной базы в Шарье, сколько директоров, товароведов и кладовщиков его перемерят и подвергнут ревизии?..

Один такой примерочный день, несмотря на то, что прошло сорок лет, я до сих пор помню. Июнь. Свежая зелень и солнце, Надя приехала из Москвы, а на ТЗБ привезли немецкие платья. Кримпленовые! Даже не знаю, как объяснить моей дочери, что такое для женщин СССР — кримпленовое импортное платье. В общем, в «Промтоварах» висят одни ситцевые халаты, а на ТЗБ появились яркие немнущиеся наряды, в которых ходят дамочки из иностранных фильмов. Добрались-таки до Шарьи. Бабушка, естественно, эти платья несет, чтобы мама с Надеждой примерили-выбрали. А мамочке с Надей — одной тридцать три, а другой двадцать восемь. И вот они, забыв обо всем, меряют эти инопланетные капиталистические платья перед допотопным бабы-Нюриным зеркалом — одно, второе, третье, десятое... Надо же выбрать!!! Мы с двоюродной сестрой сидим на полу, в партере, и во все глаза смотрим на это чудо. То, что платья — чудо, понятно всем, включая кошку, в доме стоит благоговейная тишина. Меряют, меряют — выбрать не могут, потому что взять охота всё. Наконец, добираются до последнего — голубого, «лапши» в люрексе.

— А в таком в «Кабачке 13 стульев» была пани Моника, — говорит обалдевшая Надя. И мы вспоминаем: действительно!!!

Я хочу сказать, счастье и ощущение избранности обрести в те времена было проще простого. Кримпленовое платье — это счастье из области фантастики. Но и пачка индийского чая со слоником — тоже счастье. Палка колбасы — счастье на целый месяц; колбасу едят по кусочку и берегут для гостей. А уж если ты где-то, будучи в столицах, набрел на километровую очередь за зелеными бананами (бананы в страну завозились лишь деревянно-зеленые), это было счастье втройне. И вот сейчас, производя

эту ревизию времён, могу сказать, что по поводу быта я имела две генеральные мечты — чтоб бананы продавались на каждом углу за копейки и чтобы было много разных демократичных кафе. И подумайте! — обе сбылись!..

К ужасу экономной бабы Тони кримпленовые платья — настоящее разорение! — были куплены все. Несколько лет мамочка в них вызывала всеобщую зависть, но потом гэдээровский кримплен, который всё ещё сохранял первозданный вид, вышел из моды и бесславно доживал в наших шифоньерах, пока его не раздали дальней бедной деревенской родне.

Для мамочки страшно важно, чтоб мы росли в «нормальных условиях», и поэтому в нашей квартире — югославский гарнитур, чешская люстра, натуральные ковры и разнокалиберный модный хрусталь. Я бываю у одноклассников и вижу: так живут не все — единицы. В других домах на полу ужасающие половики, деревянные табуреты и — о ужас! — железные кровати с облезлыми набалдашниками... Но главное наше богатство — книги. Книги достать сложнее всего, особенно собрания сочинений: на них подписываются, стоят ночью в очередях, ездят за ними в столицу. В Шарье книги можно обрести только одним способом — состоять в знакомстве с Эльвирой Давидовной Шалагиновой, дивной красоты дамой, директором единственного в городе крупного книжного магазина. Долгое время родители подписываются на книги и как-то получают заветные тома, но вскоре интеллигентский круг замыкается, они знакомятся с Эльвирой, и я езжу за вожделенными томами к ней, без очереди получая сокровища в коленкоровых переплетах. Помимо русской классики, мы становимся обладателями толстенных томов Дюма, Томаса Манна, Ремарка, Ярослава Гашека, Синклера Льюиса... Рыбакова, Войновича, Шаламова, Распутина приносит Лара Решетникова в толстых журналах; Булгаков и Андреев добираются до нас в виде еще одной приметы «развитого социализма» — советского самиздата. Самиздат, конечно же, активно циркулирует в крупных городах,

но и до райцентров что-то там долетает, зачитанное до дыр, с непропечатанными буквами и недостающими листками.

Первый читатель в нашей семье — папа. Вновь прибывшую книгу он бережно открывает и застывает с ней в углу дивана. Не выпуская ее из рук, обедает, разговаривает по телефону, передвигается по квартире, курит на балконе, спускается в гараж, возвращается обратно, ложится с ней спать. Запойное чтение, еще одна старинная провинциальная забава, несомненно, спасло не одну сотню тысяч жизней и от лютой неподвижной скуки, и, как следствие, от добровольного саморазрушения. В нашей библиотеке есть выпущенный до революции Ключевский и Пушкин тысяча девятьсот тридцать шестого года, которых отец время от времени берет в руки, чтобы поддержать и потрогать страницы. И мамочкины книги по искусству тоже есть. Поняв, что итальянское Возрождение в круг наших интересов решительно не входит, мамочка прочитывает эти книги сама, а после пересказывает нам, демонстрируя репродукции. Позже, бродя по музеям Флоренции, я обнаружила, что знаю об этих сокровищах все, как и о скифской культуре, золоте Шлимана и прочих вершинах мирового искусства. В больничном гетто чтение принимало прямо-таки патологические формы, и я, например, страшно боялась встретить на улице читающую все Ларису Дмитриевну — ведь она непременно спросит: «А ты прочитала “Белые одежды”? А “Улитку на склоне” Стругацких? А “Ягодные места”?» Лет пятьдесят знаменитая Лара, подготовившая меня к институту, ходит в наш дом к Весниным, и главное общение этих людей состоит в обсуждении последних литературных новинок.

Быль в тему. С незапамятных времен в нашей квартире, в моей комнате, висит портрет обожаемого родителями Хемингуэя. Тот самый, с трубкой. Опять приходят одноклассники и опять спрашивают:

— Это твой дедушка?

Еще одна характеристика времени — машины, точнее, их отсутствие. Автомобили стоят баснословные деньги, к тому же за ними существует очередь, в которой нужно стоять годами, лет по семь. Первая машина, «восьмёрка», у нас появилась в восемьдесят четвертом, когда я уже стала студенткой. А пока я росла, отец ездил на трехколесном мотоцикле «Урал», который и стоил по-человечески, рублей четыреста, и не требовал никакой очереди. Мотоцикл «Урал» — самый популярный транспорт в провинции. Нас с братом одевают в сто одежек, усаживают в люльку, мама устраивается сзади — и вперед. В касках, с насплелными от ветра лицами, мы выглядим комично и стараемся скорее убраться из больничного двора. Ездим в основном на реку или к мамочкиной родне в деревню, мотоцикл заводится с десятой попытки, адски шумит и вибрирует, и я всегда испытываю страх. Вождение любой техники в советские времена считалось сугубо мужским занятием, и я даже в самых дерзновенных мечтах представить себе не могла, что когда-нибудь сяду за руль. Села в сорок два года — жаль, папа этого не видит...

Мотоциклы «Урал» проживают в сараях-гаражах, понастроенных вокруг дома, и это еще один пласт нашей жизни. Гараж — легитимный повод для главы семьи исчезнуть из дома на полдня и после вернуться, пользуясь терминологией Зоценко, «лежа». Одна беда — стоят эти гаражи в двадцати метрах от дома и прекрасно просматриваются из окон. Гараж — не только релакс для наших пап, но и уличная игровая для нас. Зимой мы сигаем с них в снег. Начиная с весны играем за гаражами в прятки. Высший пилотаж — пробежаться по их сомкнутым между собой крышам, не будучи застуканным родителями. Но дворовые игры — это, как говорят романисты, совсем другая история.

Глава четвёртая «Служу Советскому Союзу»

Этот армейский официоз десятилетиями шел в одно и то же время — в воскресенье, в десять утра. Рабочая неделя была в основном шестидневной; выпался и — смотри передачу про армию, где солдаты подтягиваются на турниках, а потом бегают кроссы. Хуже «Служу Советскому Союзу» выглядел только «Сельский час», где рассказывали про надои и покос, да пропагандистский «Ленинский университет миллионов». Как начальник телестанции, папа смотрел телевизор всегда, с утра и до вечера, контролируя, так сказать, подчиненных дистанционно. А вместе с ним одним глазом — и мы. Черно-белый «Рубин» на козлиных ножках...

Советскому Союзу служили все без исключения. Закосить от армии (словечко появилось в девяностые) — такого даже в мыслях ни у кого не водилось. Потому что родители моих родителей — то самое, военное поколение, вот оно, совсем близко, и служба у них была, все мы знаем, какая. Главный военный в нашей семье — Михаил Николаевич Земсков, дед Михаил. Я его помню крупным, малоподвижным, с одышкой сердечника, сидящим дома, на улице Черняховского. Но это в третьем акте его жизни. А в двух первых Михаилу Николаевичу феноменально повезло аж три раза: когда он женился на бабушке, Антонине Васильевне, затем когда был призван в армию летом тридцать восьмого и, наконец, когда мой отец, его сын, женился на маме, враче-кардиологе, которая продлила жизнь свекра на четверть века. Теперь модно при всяком случае упоминать про карму, так вот, мамочка — это, безусловно, «карма» Михаила Николаевича. Сначала он невестку не очень-то принял: худая, маленькая (сорок восемь килограммов!) — кого она ему родит? Да и пол в доме моет не насухо. Но когда все вокруг заговорили про врача Земскову, когда эта врач подняла его после двух инфарктов (никто из братьев и сестер Михаила Николаевича не дожил даже до шестидесяти), он не просто зауважал сноху — он

ее почитал и с готовностью выполнял все медицинские предписания, благодаря чему дотянул до семидесяти семи лет. Это даже по нашим временам очень недурно, а уж по сталинским-то...

Про свою женитьбу дед, простой деревенский парень, объяснил так: «Чего, думаю, искать невесту на танцуйках? Не-е-ет... Я — днем, при белом свете. Иду по деревне и вижу: нарядные девки гуляют, а Тоня Михайлова — все стирает, все развешивает белье. Постирала — спешит в огород. Целый день по хозяйству... К ней и отправился свататься». Сыграли свадьбу — через пару месяцев дед ушел в армию. Только этим я могу объяснить то, что он, как сотни тысяч юнцов, взятых с гражданки, не погиб в первые дни и недели войны. Дед Михаил был одним из тех немногих «стариков», кто воевал с июня сорок первого. «Двадцать второе июня ровно в четыре часа» совпало с его долгожданным дембелем, который сержант Земсков встретил в Молдавии, на границе. Буквально на третий день войны он принял бой:

— Лежу в пшеничном поле и целюсь в немца, он — в меня. Лето, солнце в глаза, ничего не понятно. Счет идет на секунды — кто выстрелит первым?

Дед выстрелил и попал. Всю войну он воевал в танке, командиром экипажа, несколько раз горел, несколько раз был ранен. Победу встретил в пражском госпитале, так как в одном из последних боев его зацепило осколком. Вернулся домой, в свою деревню, в военной форме, победитель (мужиков вокруг нет), на груди боевой орденом Красной Звезды. Сын, семилетний мальчик, долго не желал его признавать: «Папа на фотографии — уходи, дядя!»

Что делали тогда с проверенными героями войны? Правильно, отправляли служить в органы. А не пойдешь — сам поедешь на зону. Капитана Земскова назначили начальником одного из костромских ИТК, где он, видимо, что-то понял и запил по-черному. На его войне врагом был фашист, это просто и ясно, а сейчас-то что происходит? В один из запоев дед сильно буйствовал, палил из именного оружия, куда-то рвался, после

чего его отправили на губу, а затем объявили: на Колыму, начальником лагеря. Бабушка убивалась-рыдала, не хотела ехать на страшный край света, бегала умолять высшее начальство — бесполезно. Прииск Суксукан, где заключенные добывали драгоценное олово, стал надолго ее персональным кошмаром. А восьмилетний сын радовался: ух ты, через всю страну на восток, на поезде! А потом самолетом и катером. Все бы ничего: на Суксукане абсолютный сухой закон — не забалуешь, красивые сопки, природа, но школы, даже восьмилетки, никакой нет, придется Юрочке учиться в интернате. А что такое магаданский интернат? Та же тюрьма «пуговкой назад», даже сотрудники чуть не все осужденные. Про интернат мой отец ничего никогда не рассказывал — добрым словом поминал повара, дядю Сашу, который, как мог, подкармливал голодных ребят. А вот дед Михаил вспоминал:

— Приехал как-то по делам в Магадан, есть свободные два часа — дай, думаю, проведу сына. Купил пару пирожных на скорую руку, пришел в интернат. А Юра взял эти пирожные, тут же, в коридоре, разломил на тридцать кусочков, по числу учеников в классе, и себе положил в рот самый маленький. Я-то мужик неслабого десятка, а как увидел это, заревел, как баба, всю дорогу не мог успокоиться.

Суксуканская ссылка продлилась семь лет. Я после спрашивала бабушку, которая служила в лагере кассиром:

— Чем вы там занимались?

— Работали.

— А после работы?

— Работали.

— Ну, а пикники, «зеленые» у вас были?

— Не принято. Какие пикники? Дед ходил на охоту, конечно. Настреляет мне куропаток — денщик сварит суп. У всех офицеров денщики были, и у нас старичок заключенный. А летом Юра гостил на каникулах.

Когда спустя семь лет дед возвращался на Большую землю, на пристани у катера кто-то из провожающих эзков проговорил ему в спину:

— Не бойся, гражданин начальник, доведешь. Ты к нам, как людям, относился, ну и мы тебя не обидим. А то ведь, сам знаешь, некоторые, бывает, падают с катера, тонут...

Это слышал мой пятнадцатилетний папа, уезжающий вместе с родителями.

На Колыме дед и бабушка заработали огромную по тем временам сумму — сорок девять тысяч рублей, что равнялось стоимости семи автомобилей «Волга». Лет сорок деньги пролежали на книжке, а в девяностые, как все прочие вклады, сгорели. Это притом что папины родители все это время жили в скромном неблагоустроенном доме. О том, чтобы купить на отложенные деньги жилье, даже речи не заходило. Потому что деньги — на черный день, про запас и на старость.

Может, из-за этого я никогда ничего не коплю?

Дом по улице Черняховского — радость моего шарьинского детства — я все время вижу во сне. Там две печки — русская и голландка, кухня, три небольшие, отделенные тонкими перегородками комнаты. Сюда мы с родителями приходим на все выходные и праздники, и нас кормят так, как не пообедаешь ни в одном ресторане. Непремененно пироги и домашние заготовки, непременно жаркое и вкуснейшее домашнее пиво, которое мы с братом тихонько таскаем из прохладного жбана в «дедкиной» спальне. Летом мы пасемся в выполотом до стерильности огороде, где малина соперничает с крыжовником, а земляника — с клубникой. Из огорода бежим обратно, в зал, где стоит моя этажерка с игрушками. Но самое интересное — сундуки, где хранятся дедовские галифе и шинели, бабушкины кружева и дореволюционные, доставшиеся в приданое отрезки на платье. Мы переворачиваем вверх дном весь дом, пахнущий тишиной, пирогами и репчатым луком, разглядываем бесконечные магаданские фотокарточки, а потом долго грызем семечки на печке, и мамочка, лежа на диване, благодарно вздыхает: «Мам, однодневный дом отдыха!..» В провинции принято родителям мужа (жены) говорить «мама» и «папа». Когда начинает темнеть, не спеша собираемся до-

мой, в Больничный городок. До поворота баба Тоня, благодаря которой я знаю точно, что такое великая безусловная любовь, идет с нами и долго-долго машет вслед, а мы раз десять обязательно оглядываемся...

Теперь я понимаю, что, пока Михаил Николаевич служил Советскому Союзу, Антонина Васильевна служила ему, сыну, а потом — нам. Благодаря этому сверхъестественному таланту служения (он значительно более редок, чем все остальные таланты) моя баба Тоня прожила несколько жизней. Сначала в семье мужа, которого Родина забрала на семь лет. А что такое многодетная деревенская семья? Работа с утра до ночи, а еще свекровь, три золовки... Я часто спрашивала бабушку о том времени, ожидая каких-нибудь патриархально-семейных страстей, но ничего подобного:

— Как подошло мне время рожать, посадили меня свекровь и свекор на телегу и повезли в район, — в который раз рассказывает баба Тоня. — А боль такая, что невмочь. Довезли, положили в родильное. Между схватками подхожу к окну и вижу: под дождем стоит свекровь и плачет.

— А свекор? Говорят, горяч был под пьяную руку?

— Да, горяч... Выпьет, бывало, лишнего, домочадцев выгонит всех за дверь, а меня даже пальцем не трогал: «Ты моя Тонечка, ты моя доченька!..»

После Магадана, когда дед вышел в запас и работал пожарным инспектором, в нем проснулся отец, мой прадед, и Антонина Васильевна тоже, было дело, пряталась от мужа по соседям. Но с годами дед поутих, бабушка, как более крепкая, быстро забрала в свои руки власть и выпить давала только по большим праздникам, в остальном, впрочем, мужа не ограничивая. Это была жизнь вторая. Ну, а третью бабушка прожила в семье моего брата, обожая своего правнука Никиту, которого неизменно звала Юрой. Добрая, здравая, щедрая баба Тоня пережила всех — мужа, брата и сына и, как Урсула в «Сто лет одиночества» Маркеса, дожила до праправнуков, а такого в ту пору почти совсем не бывало.

Деревня Надежино, где живет мамочкина родня, отличается от Шарьи так же, как Шарья — от институтского Ярославля. Надежино — допотопное законсервированное имперско-советское захоlustье без дорог, магазинов и клубов, без санчасти и всякого подобия связи. Здесь даже автобусы не останавливаются, и мы выходим за два километра, в Филино или Бычихе, чтобы потом тащиться по шоссе, где несутся страшные самосвалы. Дорог в Надежино тоже нет, и если мы едем на нашем «Урале», то непременно застреваем сразу за асфальтом, на повороте, где начинается непролазная колея. Слева и справа от колеи (по ней никто не ездит — не на чем) стоят деревянные дома, дворов тридцать, колея упирается в речку, а за речкой — веселый лес среднерусской равнины с грибами и ягодами, малинником и дикими зверьями. В каждом доме корова, да не одна, курицы, гуси и свиньи, которых у нас, в «городе», почти нет. Дом у маминой тетки большой, пятистенный, со всякими хозяйственными пристройками, ходами-выходами-сеновалами-террасами, подпольем и крытым двором. Лет десять этот дом — наша летняя «резиденция», и жизнь здесь у нас абсолютно растительная.

Главные достопримечательности Надежино — речка Шанга и многодетное семейство умственно отсталых, которых почему-то все зовут «гыры».

— А они говорить не умеют: «гыр» да «гыр» — вот и «гыры».

Мимо гыр, в доме которых нет даже стекол, мы проходим с опаской, но это напрасно. Незлобные и добродушные, гыры стоят со своей стороны и смотрят на нас, открытые. Гыры рады любому подарку, и мамочка часто передает в Надежино вещи, из которых мы выросли. Миновав гыр, путь идет под горку, к речке Шанге — узкой, извилистой, с коварными омутами и дивными песчаными пляжами. Пляжи чередуются с темными заводьями и пышными зарослями осоки, где висят синие бархатные стрекозы и прячутся

белые лилии. Если в такой заводи посидеть на заре с удочкой, непременно поймает лещей и щурят, а может, и большую щуку. В речке мы плещемся часами, а когда холодно — идем в лес, за маслятами, откуда возвращаемся голодные, как волки, и налетаем на пресняки — большие ватрушки из пресного теста с творогом и картошкой, которые Антонина Павловна, тетя Тоня, печет через день. В другой день — пряженцы, огромные вытянутые жареные лепешки из дрожжевого, «хоженого» теста, а также борщ, окрошка, овощи и молоко во всяком виде.

В доме летом спать жарко, и полати с пологом из тончайшей марли установлены на террасе и сеновале. Мы спим на сеновале, под которым фыркает и вздыхает корова, тяжело переступая с ноги на ногу. Здесь совершенно темно, стрекочут невидимые сверчки и протекает таинственная ночная жизнь, состоящая из запахов, шорохов и мерцаний. Утром, когда солнце по-хозяйски пробивается сквозь дощатые стены, шорохи исчезают, начинают петь петухи и всюду жужжать мухи — мы вскакиваем и несемся во двор, где ходят важные курицы и сверкает роса на траве. Самое любопытное, впрочем, здесь происходит в шестом часу вечера, когда с пастбища возвращается корова Марта и надрывно мычит, требуя немедленной дойки. После того как эта Марта на глазах у изумленной публики изжевала мое лучшее платье, я ее остерегаюсь, а когда она боднула хозяина, дядю Колю, ее рога стали мне сниться в кошмарных снах.

Когда Марта в хорошем настроении, тетя Тоня берет нас с собой в хлев, и мы долго смотрим, как из красных кулаков хозяйки звонко бьют об эмалированное ведро острые белые струйки. По соседству с Мартой, у которой всегда есть теленок на тонких ножках, живет огромная свинья с выводком поросят, лежащих чурбачками друг за другом и упирающихся в пухлый материнский живот. Мы и не подозреваем, что это наши будущие котлеты, и любимся дивными хрюшками.

Меня эта живность интересует ровно одну минуту, а вот двоюродная сестра Оля,

которая родилась и выросла в Москве, только за этим и едет в Надежино. Едва появившись в деревне, она начинает тормозить дядю Колю, чтобы тот взял ее с собой пасти деревенское стадо, когда подойдет его очередь, накануне этого грандиозного события не спит ночь, вскакивает чуть свет и, счастливая, отправляется вслед за коровьим хвостом. Бедного дядю Колю, всю жизнь прождавшего родных внуков, это трогает до слез, и они с женой неизменно называют Ольгу «наша московская внучка». С московской внучкой они ведут бесконечные разговоры о коровах, свиньях и лошадях, готовят и относят им в больших ведрах пойло, и к концу нашего пребывания Ольга доит Марту не хуже тети Тони...

Глядя на узловатые багровые руки нашей хозяйки, на белый платок, который всегда повязан на ее голове, на косточки, выпирающие на стопах, я впервые начинаю задумываться о мамочкином божестве — ИНСТИТУТЕ. Встает Антонина Павловна в пять утра — прибрать и выгнать скотину. Потом идет в огород, хлопочет на кухне, и только иногда, очень редко, мы застаем ее днем случайно задремавшей на диване. Водопровода в доме нет; воду носят из колодца, заливают в умывальник, под которым стоит алюминиевое ведро, которое нужно выносить. Печки топят дровами; поленницы дров красуются перед домом и во дворе, и я вижу, как быстро они тают. Тетя Тоня никогда не забывает нас побаловать и предлагает то грядку земляники, то очищенную морковь, то вдруг поспевшую черемуху. Когда приедаются все деревенские развлечения, мы забираемся на шкаф и достаем подшивку журналов «Сельская жизнь». Периодически выписывают все: учителя — «Учительскую газету», врачи — «Медицинскую газету», пенсионеры — журнал «Крокодил», колхозники — «Сельскую жизнь» с портретом молодого веселого механизатора / крепкой задорной доярки на обложке.

Читать про сельские дела нам неинтересно, и мы вспоминаем еще об одной забаве — сходить в соседний домик, взглянуть на Бабу-Ягу, чтобы потом, не помня себя от страха,

нестись назад. Домик совсем близко, метрах в двадцати, рядом крошечный огородик, маленькие сени и крыльцо. Чтобы войти, нужно нагнуться. Нагнулся — и ты в крошечной комнате, из которой смотрят на мир два оконца. Баба-Яга самая настоящая — маленькая, согбенная, с бельмом на глазу — всегда сидит под образами. В день приезда мамочка обязательно ведет нас к ней и громко называет наши имена, но та, похоже, ничего не слышит, только кивает. Бабу-Ягу зовут Александрой, это родная бабушка мамочки. Нас уговаривают не бояться старухи. И в самом деле, страшно только вначале, но проходит минут пять — и я то ли понимаю, то ли чувствую: моя прабабушка Александра — конечное звено цепочки, к которой принадлежу и я. Так, как живет она, жили сотни, тысячи наших предков, воспроизводя один и тот же образ жизни — работали, молились, ели, спали. Вот думать об этом действительно страшно, будто стоять на краю пропасти... Кыш! — хочется крикнуть привидениям старого домика и во все лопатки бежать на улицу, где светит июльское солнце и летит тополиный пух... Последние годы бабушка Александра никуда не выходит, и тетя Тоня, ее младшая дочь, носит в крошечный домик еду. И это, и другие дела по хозяйству наша двоюродная бабка делает легко и со смехом. Хотя какая она бабка? Когда мы с братом, дошкольники, приезжали в Надежино, веселой красавице Антонине было лет пятьдесят. Говорят, первой невестой считалась в деревне, а вышла за невзрачного Кольку Шатрова — выбора-то после войны не было. Хоть неказист был Колька, а гармонист: выходит, тоже первый парень...

История Колькиного сватовства давно стала легендой, и ее рассказывают на всех семейных праздниках и застольях после третьей рюмки, хотя ничего особенного этот рассказ из себя не представляет. Ну, пришел человек свататься, посидел за столом, для чего-то вышел на кухню, плюхнулся на выдавший виды венский стул и провалился в него до самого пола. Хозяева с невестой ждут-пождут — нет жениха... Наконец, слышат — кто-то кричит не своим голосом:

— Тонь!.. Тонь!..

Бежит Антонина на кухню, а из стула одни ручки-ножки торчат. Вот скажите мне: что в этом смешного? Тем не менее сценка рассказывается с прологом и эпилогом, в одних и тех же интонациях, и главный комизм, как я понимаю, состоит в гомерическом смехе рассказчика, которым обычно выступает моя баба Нюра. Когда все насмеются до слез, будто слышат это впервые, бабушка начинает вторую серию, в которой Николай, будучи молодым мужем, опять ушел, на сей раз в огород, и снова пропал. Где его обнаружили, история умалчивает, но новобранная почему-то искала Кольку в бочках для водостока, мешая в них воду черенком от лопаты...

Дядю Колю, который проработал всю жизнь механизатором в колхозе, мы обожаем за какую-то сверхдоброту и покладистость, и в дождливые деревенские дни, когда на речку идти нельзя, бабушка рассказывает нам его военную историю. Как и Михаила Николаевича Земскова, Николая Павловича Шатрова война застала в армии, до сорок четвертого он воевал, а летом сорок четвертого его пехотная часть перешла в наступление, прорвалась в тыл врага и продвинулась настолько глубоко, что оказалась в окружении. Долго солдаты скрывались в лесу; засуха, воды нет, и от жажды пили собственную мочу. Когда на них все-таки вышли немцы с собаками, изможденные люди приняли бой, почти все товарищи Кольки погибли, он притворился убитым, но собак не обманешь... Несколько месяцев Николай Павлович сидел в польском концлагере, из которого ему с двумя такими же, как он, отчаянными, удалось бежать. Добрался вместе с товарищами до партизан, до конца войны партизанил, и только благодаря этому «простила» ему Родина, то есть НКВД, что «сдался в плен». Вернулся с войны — женился на Антонине, родились двое мальчишек. Эти мальчишки, Слава и Саша, удались в младшего брата матери, красавца Александра Шибакова, который, как гласит легенда, был настолько хорош собою, что мог соблазнить любую,

и соблазнял, пока мог, но, в конце концов, превратился в обычного алкоголика... Тоня детей обожала, ухаживая за ними отнюдь не по-деревенски и опекая вне всякой меры. И толковые, интересные вышли ребята, одеты были лучше всех, из московских универмагов, куда регулярно к племяннице Наде ездила мамина тетка. Но что-то в них не задалось, не вышло. Будучи лучшими женами деревни, ни Славик, ни Саша так и не женились, всю жизнь проработали у моего отца на телестанции, куда так и ездили из Надёжино. Ну и, конечно, алкоголь... Вслед за красавцем Александром Шибаковым Бахус забрал Тониного Славика, и, слава богу, это произошло уже после смерти Тони. Тело его, найденное в темных шарьинских закоулках после очередной пьяной драки, привезли в наш больничный морг как неизвестно чье. Ему было всего пятьдесят шесть. Младший, Саша, пил умереннее, под старость даже «поджегился», но жизнь, что называется, прошла мимо. А может, наоборот, прокатилась по облегченному сценарию?

— Тоня наша сама виновата, — иногда говорит мамочка. — Ведь годами гнала самогона, наливала ребятам. Считала: пусть уж дома лучше выпьют, чем «под забором».

Эти застолья для нас, долгожданных городских родственников, — тоже картинка из детства. Длинный стол поперек дома, неизменные графинчики с ледяной мутноватой жидкостью, после которой мужчины надолго уходят спать «в полог» и возвращаются к вечеру, чтобы продолжить. Но ребят в молодости я пьяными не помню. Помню веселыми, шустрыми, увешанными сетками с десятью — для скотины — буханками хлеба. Помню в выцветших ситцевых рубашках, собирающихся на каторжный от слепней и жары июльский сенокос. Помню, как Слава и Саша с нами играли, а мы на них разве что только не ездили... Помню, как сушили бредень, возвращаясь с ведром рыбы после ночной рыбалки.

Из этой семьи остался один только неунывающий Сашка Шатров. Со временем переехал в ближайшее село, где родители на пенсии получили «однушку», а вот

дом-пятистеночек Славка спалил. Когда мы с Надеждой года три назад были в Надежино, где, кажется, все, кроме Тониного дома, осталось на своих местах, Саша нас отвез к своим, на деревенское кладбище, и мы поразились ухоженности трех, точно свежих, могил. И оградка, и памятники — все сделано Сашкиными умелыми руками, и еще — цветы, что когда-то повсюду росли у них в огороде...

Глава шестая «Голубой огонек»

Как утверждают очевидцы, эта история вошла в хроники становления телевидения на просторах СССР и передавалась из уст в уста. Тысяча девятьсот шестьдесят девятый год. В Шарье только начали строить телевизионную вышку, релейное отделение уже работало, но на вещание Москва добро не давала. И письма писали, и костромское начальство обращалось по партийной линии — бесполезно. Прикинули в Шарье и так и сяк — решили выбрать ходоков и отправить их прямо к министру. А кого выбирать? Ясное дело, моего отца, который возглавляет шарьинскую телестанцию, плюс редактора местной газеты. Долго готовились, записались на прием и отправились в Москву. Приехали в министерство, отстояли очередь, наконец, секретарь приглашает. Министр, судя по всему, не в духе, к тому же замученный посетителями, смотрит на часы и обращается к визитерам:

— Товарищи, будьте кратки: у вас три минуты.

— Короче некуда, — усмехается мой отец, — у папуасов в Новой Гвинее телевидение есть, а в Шарье, что в двенадцати часах поездом от Москвы, нет.

Министр рассмеялся, и проблема была решена.

Сначала трансляция шла только по воскресеньям, телевизоров ни у кого, кроме Поповых, не было, и мы все выходные проводили в соседской квартире. Приходили вчетвером, включая моего грудного брата,

усаживались и смотрели всё подряд: новости, концерты, парады, редкие мультики, «Голубые огоньки»... Особенно «Огоньки» — они шли в прямом эфире, — где краем глаза можно было увидеть жизнь советского высшего света и хоть что-то скопировать. Да и сам факт того, что «простой» ящик что-то показывает, вызывал у всех бурный восторг. Когда к ящику чуть попривыкли, в топ популярности вышли три темы, не имеющие, на первый взгляд, ничего общего, — КВН, фигурное катание и Алла Пугачёва. Игры КВН в семидесятые тоже шли в прямом эфире, и жизнь в это время полностью замирала. Команд было много, часть кавээнщиков приезжала из регионов, и все болели за своих, даже если из-за разницы во времени передача шла поздно ночью. КВН переживал свои лучшие времена, игроков знали в лицо и чтили, как космонавтов. С клубом весёлых и находчивых соперничало фигурное катание; советские фигуристы легко выигрывали золотые медали, и это было так здорово — видеть на пьедестале Ирину Роднину, плачущую от счастья под звуки советского гимна... Ну, и, конечно, Алла Борисовна в балахонах... Вопрос: кто такой Брежнев? Ответ: мелкий политик времён Аллы Пугачёвой. Этот анекдот времён застоя уже тогда не воспринимался как анекдот. И дело было вовсе не в наряде, сражающем наповал после стоящих по струнке певцов ВИА в чёрно-белых костюмах. Дело — в железной советской унификации, которая каким-то чудом не коснулась ни Пугачёвой, ни кавээнщиков, ни фигуристов...

Прошло несколько лет, я подросла и стала приезжать к отцу на работу; здесь, конечно же, телик было смотреть в сто раз интереснее:ходишь в цех, а там десятки, сотни экранов до потолка, на экранах — все разное, даже, бывает, цветное, вокруг ходят сосредоточенные сотрудники, разговаривают на своем техническом языке и что-то там подкручивают. Мешает, правда, шум и бесконечная вибрация, но этого, кажется, никто из них не замечает. Здесь, на станции, собрана вся лучшая техническая интеллигенция города, первопроходцы, те самые

«физики», о которых так много говорят и показывают. Как и положено, «физики» — молодые, красивые, остроумные, почти как в фильме «Девять дней одного года» с Баталовым, Смоктуновским и Татьяной Лавровой. Фильм, конечно, я посмотрю значительно позже, но эта атмосфера шестидесятых и то, что физики всегда ходят по краю, сразу резонирует воспоминанием о телестанции.

Самая жуткая на станции вещь — это вышка; огромная, более двухсот метров, она хищно стоит, расставив нижние конечности, и будто пронзает небо. Поначалу я просто боюсь к ней подойти: если задрать голову вверх, на фоне движущихся облаков полное впечатление, что вышка падает набок. Но постепенно привыкаю, подхожу, трогаю крепкие черные лапы и потихоньку начинаю взбираться вверх по специальной лестнице, которая тоже ужасно страшная и ведет сначала на первую, затем на вторую, третью и так далее, бесконечные площадки, куда «папины ребята» все время поднимаются для техосмотра.

А раз в несколько лет — о ужас! — еще и красят вышку. Дальше первой площадки забраться не удастся никогда, не выдержав, я бегу назад, к телевизорам, стараясь не смотреть на страшную конструкцию. При сильном ветре она, как все длинные вертикальные конструкции, начинает раскачиваться, гудеть, и амплитуда размаха, бывает, достигает нескольких метров. Телестанция, к огромному счастью шарьинцев, о котором они пока что не подозревают, стоит далеко за городом, в первозданном лесу среди роскошного малинника, куда мы с бабушкой нет-нет да приедем за ягодами. Диких зверей здесь поблизости нет (только змеи), вышка — вон она, отовсюду видно, так что заблудиться нельзя. И добраться легко — на станцию ходит специальный уазик, возит сотрудников. Когда мне надоедают и телебашня, и малинник, я забираюсь в отцовский кабинет (папа почти всегда где-то ходит) и печатаю там на машинке. Я очень стараюсь написать хотя бы несколько строк без ошибок, но то забуду поставить пробел, то нажму не ту клавишу — приходится

вставлять чистый лист и начинать заново. Других развлечений на станции нет. От скуки я путаюсь у взрослых под ногами, те тщетно ищут в программе мультики, но какие же мультики в будни? Коллектив здесь сугубо мужской, практически один и тот же — менять работу не на что, да и нет смысла.

Телевизоры, которыми, наконец, обзаводится вся Шарья, потихоньку начинают перегорать и ломаться. А где их, кроме как на телестанции, ремонтировать? «Радуги» и «Рубины» везут сюда, деньги папины «ребята» не берут, и народ платит водкой. Может быть, из-за этого отец периодически возвращается с работы подшофе, что вызывает у мамочки сначала раздражение, затем гнев, а после — самое настоящее отчаяние: ведь чем больше она сопротивляется, тем чаще это происходит. Техника работает исправно, начальство далеко — в Костроме, на телестанцию ни одна жена никаким своим ходом не доберется: почему бы не расслабиться? Поначалу это и в самом деле выглядит безобидно: ну, выпил человек пару-тройку раз в месяц — ничего страшного. Но очень скоро эта пара-тройка растягивается на несколько дней, пугая своей интенсивностью. Выпив, отец ходит туда-сюда по квартире, пытается «проверять уроки», чего в трезвом состоянии не делает никогда, спрашивает, где мать, я огрызаюсь и убегаю на улицу. Это теперь мне понятно или почти понятно, почему он пил. Да даже если непонятно... У каждого своя жизнь и свое техзадание на эту «командировку», карма, звезды, линия судьбы, скелеты в шкафу, не судите, да не судимы будете. А тогда...

Тогда отец всем нам только мешает. Мамочке стыдно перед соседями, что он опять идет по двору пьяный, я стараюсь не приглашать друзей, особенно мальчиков. И — постоянно обвиняю и грублю. Вслед за мной папу начинает обвинять брат, толку от этого нет никакого, и однажды я слышу от мамочки: «Алкоголизм». Как все алкоголики, отец думает, что в любой момент может завязать, у него даже бывают приличные перерывы, во время которых он угнетен и угрюм, но бросить уже не получается, и отец увязает

все глубже. После сорока он начинает пить ежедневно, утром его рвет от интоксикации, он едет на работу, откуда водитель его привозит еле стоящим на ногах, и так повторяется каждый день, каждый месяц и каждый год. Когда это происходит еще с перерывами, мамочка пугает его уходом, отъездом, разводом; протрезвев, папа божится, что завтра — все, ни одной рюмки, но в это уже никто не верит, включая его самого. Несколько раз мама, не зная, что делать, призывает своих и отцовских родителей, те с трагическими лицами переступают порог нашей квартиры, устраивают отцу головомойку, от которой он сбегает в гараж, неделю после этого держится и уже запивает по-черному. Я вижу, как он мучится, борется с собой, как у него, трезвого, дрожат руки, как он стоит до последнего и, измучившись вконец, наливает. Хлоп — и кошмар отпустил, жизнь засверкала, дала передышку. Так повторяется раз, другой, пятый, сто пятый...

И, в конце концов, мама решает махнуть на отца рукой, соорудив себе традиционную конструкцию российского женского счастья: лишь бы дети были здоровы. Дети и в самом деле начинают меньше болеть, мамочка с головой уходит в работу, и ей, как и другим перспективным врачам, периодически предлагают то Кострому, то Москву, то кардиоцентр, но она упорно отказывается, боясь бытовой неустроенности и того, что мы с братом окажемся «на улице». Мы и так все время на улице — во дворе, но нашей улице мамочка доверяет.

Вскоре у отца находят рак почки, почку удаляют, но даже страшная болезнь его не останавливает, и все идет как обычно, но уже без борьбы. Осознав, что сопротивление бесполезно, отец мучительно проживает полдня, а в три часа у нас уже сидит Лексеич — патологоанатом Евгений Алексеевич, сосед напротив. И отец, и Лексеич находятся в одной и той же стадии — пьют без сопротивления и чувства вины, управляют быстро, но в одиночку делать этого пока еще не могут. Статичными позами, вязкими диалогами и остекленевшими глазами они напоминают двух смертников, о кото-

рых на время забыли. Мама говорит: отец долго не проживет — и это все понимают. И однажды у меня раздается звонок. Мама: — Отец в коме в реанимации, выезжай.

Я выезжаю, но успеваю только на похороны. Ему было всего пятьдесят семь...

Накануне похорон гроб с телом заносят домой, и мы по очереди сидим у него всю ночь. У меня это первая близкая смерть, и я испытываю ужас. Несмотря на морг и уколы формалина, неизбежные изменения уже произошли, и я отца почти не узнаю. Ночью у гроба у меня всплывает это воспоминание. Лето. Мне года три. Мы с папой (мамочка, как всегда, на работе) идем на какой-то заброшенный пруд накопать червей для рыбалки. Ненавязчиво светит солнце, тропинка петляет по каким-то канавам и кочкам, а папа — юный и красивый — оборачивается, смеется и говорит:

— Давай-давай, не отставай. — И я физически ощущаю, как он меня любит.

Таких воспоминаний, когда мы с ним вдвоем, очень мало. В детстве я либо с мамой, либо с бабушками, либо одна... И это, первое, для меня очень ценно. Еще я вспоминаю, каким счастливым отец возвращался с рыбалки, всегда что-нибудь доставал и протягивал:

— На, Тетка Елка послала.

Обычно Тетка Елка слала яйцо или яблоко, которые папа брал с собой для перекуса, но не съедал, я это знала, но лет до двенадцати с упоением играла в эту игру... А еще он считал меня очень красивой и постоянно повторял:

— Ты будешь выбирать, а не они тебя.

Насчет красоты я его, разумеется, переубеждать не пыталась — пусть человек порадуется. А выбирать потом и правда приходилось.

И, конечно, сакраментальное:

— Пап, можно я пойду в поход (на танцы, ва-банк, замуж)?

— Иди спроси у мамы.

Тоже наша домашняя старая шутка...

Похороны в тогдашней Шарье — особенные, какие-то средневековые. На грузовую машину, у которой опущены борта,

кладется ковер, покрытый еловыми лапами; сюда ставятся гроб и венки, а вокруг, держась за стенки гроба, усаживаются самые близкие. В таком виде (в любое время года) на всеобщем обозрении катафалк (так и хочется уточнить — похоронные дроги) движется по дороге, а за ним — вся процессия. Через какое-то время люди садятся в автобус, но те, кто на катафалке, остаются на своих местах и едут так до кладбища. Папа умер в апреле, но, несмотря на холод, мама и бабушка садятся рядом с гробом на самом ветру. Я с девятилетней дочкой устраиваюсь в автобусе, хотя мне бы надо быть там, с ними... Дочку вообще лучше на похороны не брать, но впервые в жизни здесь, в Шарье, мне ее не с кем оставить — все родственники хоронят папу. Перед тем как двинуться, гроб ставят перед домом на табуретки, в последний момент я замечаю, что мамочка — без перчаток, и отдаю ей свои... Поминки из-за сухого горбачевского закона проходят не в кафе, где теперь алкоголь запрещен, а в нашей хрущевской квартире, и мы с Надеждой, маминой сестрой, сбиваемся с ног, чтобы усадить-обслужить всех. Народ идет и идет — коллеги, соседи, знакомые, дальние родственники, друзья... Это продолжается бесконечно долго, до позднего вечера, и потом мы с Надеждой и мамой сидим на полу, пытаюсь как-то осознать случившееся. Как ленту, мы принимаемся раскручивать папину жизнь, но вспоминаются только две вещи — магаданский интернат и то, как отец любил маму. И, конечно, этот вопрос: почему и когда у него включилась программа самоуничтожения? А главное: почему он не стал этой программе сопротивляться?

Последняя, десятилетней давности, попытка что-то изменить никак не выходит у меня из головы. Казалось, вот он, способ, найден: родители купили машину, да не какую-нибудь — модную «восьмёрку», отец сел за руль и совсем позабыл о своей пагубной страсти. Сдав сессию, я приезжаю домой на каникулы, лето, жара, мама с братом куда-то уехали по путевке, папа встречает меня на новой машине, и мы долго колесим по Шарье, желая продлить это счастье.

Ехать в Шарье особенно некуда, через полчаса она просто заканчивается, и мы мчимся то по Шангской дороге, в Надежино, то на речку Ветлугу, то еще куда, лишь бы ехать и ехать. Радуюсь, что с машиной все получается, хотя раньше он не водил, папа смеется, что-то рассказывает, мы ужасно гордимся друг другом, а главное, я ощущаю его любовь, как тогда, в детстве, когда мы шли копать червей на дальний пруд... Года два отец увлечен этой игрушкой настолько, что они с мамочкой ездят на машине то в Кострому, то в Москву, то в Ярославль, и у мамочки появляется отзвук надежды. Впрочем, рамки, в которых держит автомобиль, тяготят отца все сильнее; чтобы выпить, он устраивает себе перерывы в вождении и, наконец, продает машину. Всем ясно: больше попыток не будет...

Оказывается, папина смерть — лишь начало. Вслед за отцом один за другим начинают уходить его сотрудники, точно на том свете он собирает свой коллектив для какой-то иной телестанции. И диагноз у всех одинаковый — онкология... Бесконечные похороны. И у всех один и тот же дедлайн — до шестидесяти. Потому что излучения от телевизионной башни их убивали десятилетиями. А теперь эти вышки спокойно стоят в городах.

Теперь к нам часто ходит моя баба Тоня, плачет и обнимает портрет сына, который давным-давно сделал и подарил Федоров...

Глава седьмая: «Взрослым о детях»

Лет с четырех я гуляю во дворе одна, как и все соседские дети. Только что у меня родился брат, и это первое несчастье моей детской жизни. Сначала вдруг исчезла мама, и мы неделю жили с папой вдвоем, как два подростка — на бутербродах и хлебе с вареньем, спать ложились в два часа ночи, и это было очень весело. Когда выясняется, что у нас мальчик, отец с Владимиром Павловичем опустошают по бутылке водки и стреляют в воздух с балкона из охотничьего ружья,

пока кто-то из соседей не вызывает милицию. А потом все переворачивается вверх дном: мама, которую я обожаю, перестает обращать на меня внимание, целыми днями носится с этим новым ребенком и ругает меня, если я отказываюсь его развлекать.

— Может, ну его, выкинем на снег? — смеется надо мной веселая Гутя Попова, и мои глаза вспыхивают надеждой:

— А можно???

Когда у меня подскакивает температура, происходит и вовсе ужасное: меня отсылают спать в соседнюю комнату, чтобы не заразила брата, а я решаю — с глаз долой. Правда, с его появлением я обретаю свободу дворовых прогулок и пользуюсь ею, как только могу. Сейчас в это страшно поверить, но дети в Советском Союзе перемещаются по улице точно так же безнадзорно, как взрослые, что совершенно никого не беспокоит. А чего беспокоиться? Чай, не в Америке живем — в СССР, где моя милиция меня бережет, и вообще скоро никаких преступников точно не будет. Идеологическая машина по созданию мифа о большой и доброй стране, которая бдит о тебе днем и ночью, работает без перебоев, о всяких гадостях вроде гибели детей, масштабных авариях и катастрофах газеты молчат, как партизаны, интернет изобретут лет через тридцать — чего волноваться-то? Мнимая защищенность — такая же часть советского проекта, как коллективная собственность, железный занавес и газета «Правда». Ну и что, что в «Правде» нет известий, а в «Известиях» нет правды? От мамочки я знаю: у ребенка только один враг — это простуда, так что мир, в общем, принадлежит мне. Лично для меня открытие этого мира началось с одной комической истории, которая многое объяснила мне про запреты. В то время со мной сидела нянька баба Лиза, и эта баба Лиза имела редкое достоинство — она настолько вкладывалась в собеседника, что болтать с ней было подлинным счастьем. А поскольку к четырем годам я знала тьму всякой всячины, поражать бабу Лизу своим развитием вошло у меня в привычку. И вот однажды на прогулке довелось мне услышать слово

п*зда. Вроде бы, его произнес вон тот дяденька, которому было трудно встать со скамейки, и он даже упал в те кусты.

— Вот ведь п*зда! — кричал дядька, не в силах принять вертикальное положение, и я решила, что п*зда — это, видимо, крайнее выражение досады.

Слово мне показалось затейливым, и при первом же удобном случае я ввернула его няньке. Против обыкновения та совсем не обрадовалась, а, напротив, как-то странно растеклась на стуле, и мне было велено молчать, иначе «отправишься в угол, а язык твой поганый горчицей намажу». Поведение человека, которого я считала своим другом и даже поклонником, меня настолько озадачило, что продолжить опыт с новым словом было просто необходимо, и я назло повторила:

— П*зда, п*зда, п*зда.

Не в силах заткнуть этот фонтан, нянька и в самом деле понеслась за горчицей, пригрозив мне страшным голосом:

— Еще раз скажешь — придет п*зда из леса и растерзает тебя.

Утверждение звучало настолько сомнительно, что, пока нянька копошилась на кухне, я влезла на подоконник и пару раз прокричала опасное слово в форточку. Но то ли п*зда не услышала, то ли ее поблизости не было — в общем, она не явилась, а несчастная Лизавета весь вечер пила корвалол. Слово занозой сидело в моей голове, и, несмотря на то, что горчицу я получила по полной программе, твердо решила проверить, правду ли говорит нянька. Возможность представилась через пару месяцев, когда мне разрешили погулять одной, и я сразу же изложила проблему Марче. Мы решили пойти до ближайшего леса — лес произрастал прямо за гаражами — и орали там кодовое слово до посинения, с каждой секундой теряя надежду встретить загадочное страшилище...

* * *

Никаких игровых площадок во дворах нет, но сам двор — роскошная игровая пло-

щадка с гаражами, хозпостройками, заборами, кучей песка, остовом сгнившей машины, старыми досками и другими сокровищами, которые мы используем по собственному усмотрению. Не знаю, что на тему детской дворовой безопасности думают говорящие головы педагогической передачи «Взрослым о детях» — ее не смотрит никто, но наши родители точно не думают ничего, им просто некогда думать; у родителей работа, общественная нагрузка, смотрят художественной самодеятельности и добывание продуктов в очередях. Для нас же главное — вернуться домой до наступления ночи, иначе завтра никуда не выпустят, а хуже этого нет ничего. Тем не менее детские стандартные развлечения (если смотреть на них из сегодняшнего дня) шокируют даже не слишком впечатлительных взрослых. Самое безобидное, что мы делаем, — наблюдаем за бурной жизнью крыс под старыми досками, которые лежат настилом. Крыс это нисколько не смущает, и они спокойно перемещаются по своим делам. Насладившись жизнью животных, мы отправляемся делать секреты. Для этого нужно вырыть яму, на дно ямы уложить узором цветы, камни и разные разности, прикрыть это сверху обломком стекла, засыпать песком и как-то пометить, чтобы потом разгрести и смотреть «секрет».

Мы сидим на заборах, носимся по гаражам, лазаем по заброшенным стройкам и теплотрассам, купаемся в заполненном водой карьере и, втиснувшись внутрь деревянной катушки для троса, катимся в ней со спуска, пока катушка, развив скорость, не врежется во что-нибудь и не разобьется в щепки. Мы можем нарыть моркови на каком-нибудь поле, помыть ее в луже и тут же сгрызть, регулярно жуем гудрон, уважительно называя его жвачкой, и вшестером откусываем от одного яблока. Зимой мы сижем в снег с крыш гаражей, и, как правило, ничего трагического не происходит. За весь дошкольный период только и было, что два опасных случая, и те закончились благополучно: Марча весной провалилась в котлован с водой по шею, и мальчик из соседнего

подъезда надыхался чем-то до рвоты, забравшись в пустую, брошенную строителями цистерну... Зато — повторяюсь — мир принадлежит нам.

Ближайшая от Больничного городка школа находится в сорока минутах ходьбы, автобусы до нее не ходят, и мы с Марчей с первого класса добираемся туда сами, без провожатых. Единственное, за чем следит мамочка, чтобы я хорошо ела, и еще заплетает мне косы. Никто ни с кем уроков никогда не делает, портфелей не проверяет, учитель всегда прав, жалобы на приятелей не принимаются: разбирайтесь сами. Мир советского ребенка существует настолько обособленно от мира взрослого, что эти миры практически не соприкасаются. И, конечно, в мире советского ребенка не принято много рассказывать о том, что произошло в школе или, не дай Бог, во дворе, а тем более доносить на товарищей — чем взрослые знают меньше, тем лучше. Мамочка, например, не подозревает о том, что я регулярно бываю на крыше нашего пятиэтажного дома и бегаю вместе со всеми за горохом на прилегающие поля, где нас поджидает сторож с дробовиком. Мамочке невдомек, что самое интересное всегда происходит после уроков, когда мы с Марчей возвращаемся домой, и что это возвращение может длиться часами. По пути мы сочиняем бесконечные истории, если попадается траурная процессия, глазем на похороны (интересно, когда хоронят военных, потому что труп никогда не сочетается с блеском формы), заходим в магазинчик «Огонек», что как раз на середине пути «школа — дом», покупаем ириски и тащимся дальше — мимо редакции «Ветлужского края», химчистки, парка и стоматологической поликлиники. Но это длинная дорога. А есть еще короткая — лесом, где нам ходить запрещено. Но мы все равно ходим по хорошо протоптанной тропке, перелезаем под трубами теплотрассы и сокращаем путь раза в два. Самое страшное в этом лесу — персонажи со спущенными штанами (мы их зовем «голожопики»), которые что-то там делают со своими интимными местами, и мы, завидев такого, либо пускаемся бежать, либо

ждем взрослых попутчиков. Впрочем, появляются «голожопики» только в теплое время года, и весьма редко. Дорога лесом хороша еще и тем, что на ура идут всякие ужасики о том, что в черном-черном лесу стоит черный-черный дом, в этом черном-черном дому стоит черный-черный стол; на этом черном-черном столе стоит черный-черный гроб, в этом черном-черном гробу лежит черный-черный покойник и кричит:

— Отдай мое сердце!!!

Последнюю фразу следует орать не своим голосом, чтобы тот, кому рассказывают ужасик, сиганул со всех ног, не разбирая дороги. На киноэкране ужасам места нет; может быть, поэтому они живут только в детском фольклоре, который бурно развивается в спальнях пионерских лагерей, повествуя о гробе на колесиках и родителях-убийцах, перерабатывающих своих детей в печенье. И гроб на колесиках, и печенье из детей приедаются быстро, и мы упорно ищем ужас в быту. Я, например, всю дорогу пристаю к бабе Лизе, которая, однажды рассказав мне про смерть в балахоне с косой, вынуждена теперь повторять свой рассказ в разных редакциях.

— И что, так и придет средь бела дня и скажет: собирайся?

— Так и придет и скажет, — охотно кивает нянька и вяжет свой вечный носок.

— А потом?

— А потом раз, взмахнула косой — и привет.

Я пытаюсь представить, как можно косяк скосить человека, но мое воображение здесь бессильно.

— А ты ее видела, Смерть-то?

— Видела, как не видеть. К соседу Кольке приходила. Забрала его и ушла.

Я пытаюсь добиться каких-то подробностей — ну, там, фасон плаща или размер косы (что, такая, как у тети Тони в деревне?), но нянька только вздыхает и смотрит в окно.

Марче на подобные темы, кроме меня, поговорить не с кем, но однажды она мне с гордостью сообщает, что у них за стенкой живет натуральная ведьма. Рядом с Федоровыми и в самом деле проживает какая-то

древняя бабка со своими весьма пожилыми детьми, так вот Марча клянется, что видела, как эта старуха ночью вылетает из форточки на метле, а в полнолуние входит в Марчину квартиру сквозь стену и висит там под потолком. Месяца два мы честно следим за ведьмой, которая и в самом деле периодически выходит из дома, чтобы проверить почтовый ящик, а один раз действительно застаем ее на лестничной клетке с метлой и совком, что приводит нас в ужас... Только теперь я понимаю, сколь убого в атеистическом СССР выглядит нечисть (если она вообще есть): все упыри и оборотни проживают в единственном фильме «Вий» с Натальей Варлей в главной роли, но дальше «Вия» — ни-ни.

Но однажды происходит весьма странный случай, который я до сих пор внятно объяснить не могу. В нашем первом «Б» учится девочка по имени Ира Мелехова, которой, судя по всему, про окружающий мир известно значительно больше, чем мне. И вот однажды Ирка на перемене рассказывает, что в каждой квартире живет домовый. Естественно, мы над этим смеемся, но Мелехова, ничуть не смутившись, советует:

— Ну, хотите — проверьте... Нужно громко сказать вслух: домовый, домовый, я — хозяин дома. И чтобы никого, кроме вас, в квартире в этот момент не было.

Едва вернувшись домой, я делаю так, как велела Ирка, и в тот же миг тяжелая неповоротливая дверь, которую обычно еле сдвинешь (а живем мы на третьем этаже), распаивается без всякой причины и с диким свистом хлопает. Но это не все. Ночью я просыпаюсь оттого, что кто-то давит мне на шею, и я, как ни стараюсь крикнуть и позвать на помощь, не могу издать ни звука. А когда удастся изловчиться и сесть, слышу шуршание, подобное звуку плаща-дождевика, точно кто-то невидимый вынужден торопливо ретироваться. На другую ночь повторяется то же самое, и на третью — тоже, пока меня, наконец, не осеняет опять обратиться к «домовому» и вежливо просить прощения.

После этого случая Мелехова приобретает небывалый авторитет и консультирует

всех по самым разным поводам, а однажды объясняет, откуда берутся дети, надолго погрузив нас с Марчей в шок:

— Да, мои дорогие, так просто: папа должен пописать маме в это самое место — и все.

— Что, у всех одинаково? — не верю я.

Несмотря на мелеховский авторитет, я твердо убеждена: дети появляются исключительно от объятий и поцелуев, а в некоторых случаях и без этих приятных вещей — ну, например, если женщина сильно захочет. (Где-то класса до шестого я решительно отвергаю брак и семью, а когда мне задают провокационный вопрос, откуда тогда брать детей, я с уверенностью парирую: ну, если сильно захотеть — можно родить.) Мелехова обижается и ссылается на своего старшего брата, который «знает точно» и все объяснил. Брату верится несколько больше, но когда я за этим отвратительным занятием поделанию детей представляю нашу учительницу (а у нее — трое!) или, что уж совсем ни в какие ворота, своих и Марчиных родителей, — сознание отказывается переваривать тему.

— Ну, хорошо, захотела, а дальше? — спорит вредная Мелехова.

— Зерно будущего ребенка есть во всех женщинах, и когда ты сильно захочешь, чтобы оно проросло — прорастет.

И, несмотря на то, что моя теория явно красивее, Марча ее не разделяет, твердо держа нейтралитет. Истина открывается спустя несколько лет — и не во дворе, средстве массовой и индивидуальной информации, а, страшно сказать, у меня дома, в святая святых — нашем книжном шкафу. Нет, это был не медицинский справочник, а порнографические стишки, где все было названо своими словами, а также дополнительно графикой. Этот самиздат в виде маленькой желтой книжки, стоящей на дальней полке за третьим рядом книг и обнаруженный, видимо, вскоре после его появления, ставит жирную точку в нашем споре, и я, как честный человек, предьявляю его Марче. Тщательно изучив просветительскую литературу, мы зачем-то решаем ее уничтожить,

что вызывает растерянность среди моих родителей. На допросе я, конечно, во всем сознаюсь и, чтобы не подставлять отца (ясно ведь, кто приташил), предполагаю, что ЭТО нам, видно, «подбросили». Мамоchка, у которой гора падает с плеч оттого, что я не потеряла страшный компромат в школе, а всего лишь его порвала, сваливает все на Пушкина А. С., объяснив, что порнографические стишки, между прочим, — его раннее творчество. Пушкин ли, Тюткин, мне совершенно неважно, и, к торжеству Ирки Мелеховой, я надолго разочаровываюсь и в сексе, и в разговорах о нем.

Глава восьмая «Пионерская зорька»

Марча и Мальчик из нашего класса мне обеспечили переносимость школьной жизни. То, что среди сорока двух одноклассников «своих» нет и нужно как-то выживать, стало понятно сразу. Но мы с Марчей были вдвоем, а один плюс один — это, знаете ли, одиннадцать. Первый класс провинциальной школы, набирающей всех подряд, — это социум в миниатюре, а в социуме, в отличие от нашего медицинского двора, есть очень разные люди: рабочие, обслуживающий персонал, преступники, люмпены... Дети, конечно, преступниками и люмпенами быть не могут, но, как писала Ахматова, будущее отбрасывает свои тени задолго до того, как войти, и эти тени есть на лицах. Мало того, что классы переполнены, так процентов пять в них — необучаемые ученики, которых регулярно оставляют на второй год, потому что вспомогательной школы в городе нет, и отличники — их тоже пять процентов — вынуждены страдать пол-урока, пока учитель тянет двоечника на несбыточную тройку. Самые интересные и развитые дети — из военного городка, но, как правило, долго они не задерживаются: год, два — главу семьи опять переводят в другой гарнизон, а я остаюсь с генеральными персонажами своей школьной жизни — Марчей и Мальчиком. Марча всегда под рукой, с ней легко можно

развлечься и спастись от любого кошмара. Ну, а Мальчик... В него я влюбилась сразу, кажется, первого сентября в первом классе, и это чувство не покидало меня все десять лет. Иногда оно, как речка, сужалось, петляло, пересыхало, превращалось в ручей, шло параллельно другим, нешkoľным влюбленностям, но всякий раз, когда я была готова проститься с ним навсегда, вставало в полный рост.

По закону жанра, Мальчик, естественно, не обращал на меня ни малейшего внимания: он ни на кого не обращал внимания, и в него были влюблены чуть не все мои одноклассницы. Но одноклассницы постепенно выздоровели, обратили свои взоры на более отзывчивые объекты — все, кроме меня. Да и что бы у меня тогда осталось, избавься я от этой любви? Писать я тогда, разумеется, не писала; это сейчас можно ухнуть в очередную книгу — и до свиданья. А тогда... Математика с физикой, в которых я ничего не понимала? Забытая богом Шарья? Изъеденный, как сыр, Больничный городок? Я приходила в класс, видела Его лицо, и мир наполнялся живым смыслом. Если же Мальчика вдруг не оказывалось на месте, класс превращался в пустынную степь без единого человека, и с этим ничего нельзя было поделаться. Все остальные, даже самые лучшие, казались статистами, а если и светились, то лишь Его отраженным светом. Мальчик, впрочем, мало болел и, как правило, находился на месте, и значит — можно было спокойно учиться.

Надо сказать, я почти не страдала от этой неразделенной любви и не делала никаких попыток к сближению. Вот глупый, дурацкий «роман», рассказать о нем нечего, кроме редких разговоров и встреч уже после того, как мы окончили школу. Встречи эти никогда ничем не заканчивались, больше того, Мальчик всегда обрывал их сам, я испытывала короткую острую боль, которую удавалось быстро залечивать, и тем не менее я с благодарностью вспоминаю эту любовь, подарившую мне «параллельную» школьную жизнь. И еще. Благодаря Мальчику я не сразу, но осознала, что есть два

типа девочек: одних любят просто так, ни за что, а другим нужно очень стараться, чтобы их полюбили. И я, как это ни ужасно, видимо, отношусь ко второй категории. Открытие печальное, но довольно полезное, и я буду, буду стараться. Нужно много читать (я и так бесконечно читаю) — это первое, ну и, главное, отличаться в тех областях, в которых другие — ни в зуб ногой. Что это за области, я пока представляю смутно, но должны же они быть! Мальчик, напротив, относится к категории первой; он вообще утверджен в жизни самым фактом рождения, и ему никаких доказательств не требуется, а вот мне с тех пор нужно всем про себя все доказывать... Или эта необходимость появилась с рождением брата? Как-то коллега, театральный критик, а театральные критики всех видят насквозь, меня спрашивает:

— Почему ты не пользуешься своей внешностью?

Кроме влюбленности в Мальчика, в первом классе происходит еще одно глобальное событие — нас всем скопом принимают в октябрята. Что это такое, мы понимаем слабо, но значку с Володиёй Ульяновым радуемся и гордо произносим октябрятскую клятву. Почему «октябрята»? Потому что по старому стилю большевистский переворот случился двадцать пятого октября, а идеологии в СССР, как известно, покорны все возрасты. Для начала каждый класс называют отрядом, выдают красный флаг с изображением Ленина в детстве, и отряд с ним куда-нибудь ходит, но чаще стоит на линейках. Для начала мы читаем своеобразного детского писателя Аркадия Гайдара, где хорошие мальчиши-кибальчиши бьют плохишей и буржуинов, палят наши пушки, несутся паровозы с алыми звездами, а Тимур и его команда носят воду и колют дрова матерям красноармейцев. Гайдар, этот адаптированный к СССР Майн Рид/Стивенсон (сравнение Дмитрия Быкова), действительно идет на ура, потому что рифмуется с нашей свободой, дворовой взрослостью и незаметно заражает этой бациллой детского милитаристского мышления, что на всякий случай вонзают в каждого советского

ребенка. Так что начиная класса с третьего все хиты дворовых игр — милитаристские: «Знамя», или, в крайнем случае, «Стрелки». Нет, «Стрелки» даже лучше: все, кто вышел во двор, делятся на две команды, и одна из команд убегает, по маршруту следования оставляя специальные знаки, а другая ее по этим знакам преследует... Детский милитаризм растет и крепнет и классу к шестому принимает официальный вид, потому что в каждой школе ежегодно проводится военно-полевая игра «Зарница», где есть полки и взводы, солдаты и командиры, кашевары и санитары, пластмассовые ружья и пистолеты, а главное — красные и зеленые или, может быть, синие, чтобы было с кем воевать... Советский классик Борис Стругацкий подобрал этому термин — радостный инфантильный детский милитаризм, который махровым цветом цветет в пионерских лагерях, где ребенок проводит значительную часть жизни.

В лагерь мне пока еще рано, так что после первого класса меня отправляют в санаторий на Черное море. В Феодосию. В жизни советских людей существовало два моря — Черное и Азовское. И, конечно, все стремились съездить на Черное. Во все времена это было довольно дорогое удовольствие, поэтому народ охотился за профсоюзными путевками, которые в разы дешевле, так как их частично оплачивал профсоюз. Выдалась какая-то профсоюзная путевка — надо брать. Я, конечно, не понимала, что меня ждет, и радостно собиралась. Разработали такую схему: в Феодосию меня везет папа, несколько дней там живет, пока я привыкаю, затем возвращается домой, а забирать приедет мама. Оказавшись в этой Феодосии за каким-то гигантским забором перед лицом медкомиссии, которая только что под лупой меня не рассматривает, я принимаюсь отчаянно рыдать. Я рыдаю с утра и до вечера в надежде на то, что папа одумается и мы вместе вернемся домой, но он почему-то меня оставляет, и мне приходится там выживать, без Марчи и Мальчика. Ничего плохого в этом черноморском санатории, разумеется, не было, но это страшное

чувство, что ты — совершенно один и в далекой тюрьме, я помню до сих пор. Помню асфальт в фиолетовых точках от плодов смоковницы, помню холодное море, не приносящее и сотой доли того удовольствия, что давала мне речка Шанга в Надежно. Помню ужасные антивоенные вечера, на которых нам рассказывали о страшной атомной бомбе, сброшенной на Японию, и о том, как от лучевой болезни умирала японская девочка, которой врач пообещал, что она выживет, если сделает миллион бумажных журавликов. Девочке это было не под силу, и тогда дети всей планеты стали делать для нее журавликов и отправлять в Японию; девочка все-таки умерла, а журавлики шли и шли...

Кажется, я даже ни с кем там не подружилась, несмотря на то, что умею мгновенно обрести друзьями в любой поездке. Через какое-то время приезжает мама, и мы еще неделю живем в Феодосии, но уже на квартире, ходим на базар и на море, ездим на каких-то кораблях и ужинаем в шашлычных, и это, конечно же, настоящее южное счастье. Гигантский бонус этого счастья состоит еще и в том, что мама приехала одна, без брата, который сразу после своего рождения отодвинул меня от нее и лишил ощущения избранности.

После Феодосии я раза три ездила в местные убогие пионерские лагеря и ни разу не испытала там ни такого одиночества, ни последовавшего за ним острого счастья.

Последним в череде лагерей оказался «Артек», куда я отправилась уже в седьмом классе, к тому же в сентябре, во время учебы. И опять я затрудняюсь с объяснением, что такое «Артек»... В пятом классе всех детей принимали в пионеры — повязывали им на шею красный галстук, и дети обещали «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия». Против кого бороться, никто не уточнял, да мы, кажется, и не спрашивали. Всегда ведь существуют «мы» и какие-то оппортунистические «они», и вот это ощущение, что ты, слава Богу, «у нас», в СССР, лучшем ме-

сте на свете, — одно из главных ощущений детства. Считалось, что в пионеры принимают самых достойных, но в реале туда брали всех, и у нас в школе не было случая, чтобы кто-нибудь вдруг заявил: «А не остаться ли мне по ту сторону пионерии?» С одной стороны, это бы колоссально облегчило жизнь: не надо ходить на линейки и сборы, вести внеклассную работу, заниматься с отстающими... Да-с! Это сейчас родители всякого нормального ребенка целое состояние тратят на репетиторов. А тогда к двоечнику цепляли буксир в виде отличника, и отличник регулярно объяснял ему то, что не смог донести учитель. Я в отличниках не числилась никогда, но тоже с полгода ходила к одному татарскому мальчику, приехавшему в Шарью из Башкирии. Но с другой стороны, если ты не в пионерах, значит, ты против нас?.. Мы, впрочем, этими вопросами не заморачивались: красный галстук на шее — это довольно красиво, главное — гладить-стирать его вовремя. Помимо всякой дребедени вроде линеек и сборов, пионеры имели собственную газету, «Пионерскую правду» (которую выписывали все), собственную телепередачу «Отзовитесь, горнисты!» (где показывали идущих строем подростков с красными галстуками), специальную радиопередачу «Пионерскую зорьку» (которая шла каждый день в несусветную рань и портила настроение на всё утро) и, как теперь говорят, мегалагерь «Артек» в Крыму. Создавали «Артек» (в переводе с греческого — перепелиный остров) как здравницу для больных туберкулезом, но постепенно лагерь разросся и превратился в парадно-выходную пионерскую цитадель, которую можно было продемонстрировать иностранцам. Поездкой в «Артек» награждали отличников и активистов, и это всегда было событием, так как на город приходили одна-две путевки. Но отличницей я не была, и путевку в «Артек» мне купили родители — это тоже практиковалось. Перед тем, как уехать, меня вызвали местные пионерские боссы и долго инструктировали, как себя вести, хотя чего там было инструктировать — смена предполагалась обычная, а не международная.

Международная была накануне. Но главное, боссы познакомили меня с Мальчиком... Мальчиком Из Другой Школы, который тоже ехал в «Артек», но уже как награжденный.

Мальчик Из Другой Школы оказался интересным и очень спортивным, к тому же старше на два года; он сразу продемонстрировал невиданную галантность. Я даже как-то поверила, что с его помощью забуду безразличного «своего» Мальчика... Пионерская цитадель-символ, как и сам Советский Союз, была своего рода империей и состояла из трех больших лагерей — Морского, Горного и Прибрежного, самого обширного, в который определили и нас. Я попала в Озерную дружину, Мальчик Из Другой Школы — в Речную. И даже там, на уровне отряда, тебе все время внушали, что ты («Слава Богу!») в Советском Союзе... В первый же день нас заставили разучить песню: «... Встал Ильмень в строю и Балхаш, а за ними — Севан, Селигер и Байкал». Как и все артековские отряды, наш отряд (названный именем крупного армянского озера «Севан») был сформирован из представителей союзных республик: человек пять — из России (тогда это была республика!!!), по двое — из Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана; по одному человеку — из Эстонии, Латвии и Литвы. Почему-то мы, которые из России, были не разлей вода с казахами и якутами, а грузины, армяне, прибалты предпочитали вариться в своей микродиаспоре. Впрочем, на ассимиляцию времени не оставалось, так как артековский день оказался расписан на бесконечные мероприятия — линейки, смотры, конкурсы и сборы. С утра нас ненадолго водили на пляж, но самозабвенного купания не получалось и там: по свистку зашли, по свистку вышли, не успели согреться — опять свисток на купание. Кроме пионерских мероприятий, каждый должен был записаться в кружок типа мягкой игрушки и регулярно вести дневник артековской жизни — на это тоже отводилось время. Тем не менее мне как-то удалось обзавестись собственной компанией, которая стала чем-то вроде противовеса бесконечному официо-

зу. Компания образовалась сразу и состояла из четырех человек — русской девочки с Дальнего Востока, казашки из Кызыл-Орды и латыша из Риги. Я, Люба Яныгина, Оля Хан и Арнис Зитанс. С самого начала мы старались держаться вместе, все время смеялись, пробовали развлечься дворовыми играми (пытались пробраться во время тихого часа по балкону в соседнюю спальню), но были пойманы и отчитаны за «антиартековское» поведение. Если бы не Люба, Оля и Арнис, я бы на третий день скукожилась от этих построений и речевок. Пионерский официоз, начиная с зарядки, проходил на огромном стадионе, он же выполнял функцию сценической площадки. И в «Артеке», и в самой пионерской организации изо всех сил культивировалась коллективная жизнь; личность там не фигурировала вообще. Были, конечно, пионеры-герои, но, во-первых, они были давно, а во-вторых, пионеры-герои погибли за всех остальных пионеров, то есть за коллектив. Сказать, что сплошная коллективная жизнь раздражала... Да нет, она не раздражает в подростковом возрасте. Как не раздражают вечное грандиозное «мы» и парадная пионерская форма. Раздражает другое — форма без содержания, фарисейство, игрушечность символов. Вот типичный пример. Во всех пионерских лагерях, особенно крупных, существовала такая вещь, как прощальный костер, который проводился накануне отъезда и являлся апофеозом всего лагерного периода. На «кострах» пели, танцевали, обменивались адресами, прощались и плакали, костры затягивались до утра. Существовала старинная артековская традиция — увозить домой и хранить уголек прощального костра как символ пионерского братства и память об «Артеке». Был ли у меня такой уголек? Был, конечно. Угольки в слюде, как и положено, нам раздавали накануне отъезда. Только никакого прощального костра у нас не случилось — по каким-то причинам руководство лагеря решило его просто не проводить. Чувствовался во всем «Артеке» какой-то упадок сил, будто выдох после предыдущей помпезной международной смены...

Вот написала — официоз, построения, смотрю, но было, было даже в «Артеке» одно неформальное, непионерское мероприятие, где мы все отрывались по полной. Проходило оно два раза в неделю на том же стадионе, но это была самая настоящая дискотека — там я впервые услышала «Boney`M». Первое время на дискотеке крутили советские песни, но вдруг что-то произошло, и старшие отряды, «Селигер» и «Байкал», прекратив танцы, принялись скандировать и громко хлопать в ладоши: «БО-НИ-ЭМ!.. БО-НИ-ЭМ!.. БО-НИ-ЭМ!!!» Кто такие эти «БОНИЭМ», зачем их призывают, я по малолетству и отдаленности от столицы не имела никакого понятия, но было ясно: народ чего-то добивается, а значит, нужно поддерживать. К тому же это страшно весело — кричать и дружно хлопать. Через пять минут скандирование охватило весь стадион и продолжалось минут двадцать, гулко отдаваясь эхом по всему лагерю, руководство растерялось, советскую музыку выключили, а после паузы таки завели неизвестных мне «Boney`M». Я и представить себе не могла, что музыка может быть ТАКОЙ!.. Даже наши замученные вожатые — не представляю, когда вообще они спали — ожили на глазах и танцевали шейк где-то сбоку.

Там, в «Артеке», я впервые увидела «живого артиста», и не кого-нибудь, а Савелия Крамарова.

К пионерским делам главный комик СССР никакого отношения не имел — он приехал в Крым на съемки «Приключений капитана Врунгеля», своего последнего перед отъездом в Америку на ПМЖ фильма. А «Врунгеля» снимали на нашем пляже. За одну ночь у пирса выросла деревянная шхуна, а по шхуне в белом кителе важно ходил актер Михаил Пуговкин. Это сейчас российские дети мечтают о карьере, выраженной в денежных знаках, а у советских детей было две генеральные мечты — стать космонавтом (у мальчиков) и сняться в кино (у всех). Или хотя бы взглянуть на эти самые съемки. И вот кино буквально в ста метрах, мы отпросились у вожатого и даже захватили открытки для автографа. Вопрос: как его

получить?! «Беда» стоит рядом, все актеры — на ней, но на шхуну, естественно, никого не пускают, площадка оцеплена. Минут десять мы мнемся в сторонке, и понимая, что нас вот-вот хватятся, я объявляю, что пойду на корабль одна и разведу обстановку. У трапа, конечно, охранник — нет, охранников в СССР не водилось! — дежурный, он, конечно, меня не пропустит, а с палубы все куда-то исчезли. На мое счастье, вдруг появляется тот самый рыжий веснушчатый мальчик из «Ералаша». Помните рыжего мальчика из «Ералаша»? Мальчика звали Аркаша Маркин, и увидеть его живьем было все равно, что познакомиться с Волком из главного мультсериала страны «Ну, погоди!». Мы быстро знакомимся — мальчику Аркаше скучно без общения, и он говорит: нет проблем, позову Пуговкина. Через минуту нас окружает весь отряд «Севан», Аркаша и Пуговкин раздают автографы, объясняя, что сейчас у них репетиция, что съемки начнутся на днях, не такое уж это чудесное дело, и вообще они завидуют нам, которым не надо весь день торчать на солнце в костюмах и гриме. Когда Пуговкин уходит, охранник насмешливо замечает, что если уж брать автограф, так у Савелия Крамарова, и показывает нам на высокий парапет, где и вправду, как на насесте, сидит скучающий Крамаров — в кепке и плавках. Видя нашу нерешительность, охранник смеется: ну, подойдите, спросите: Савва, как поживаешь? Даже в этом смешке чувствуется, что Крамаров — суперзвезда, у него здесь особое положение. Все вопросительно смотрят на меня, и я снова отправляюсь на разведку. До парапета довольно далеко, приходится бежать, так как нас, скорее всего, уже ищут, а я, кстати сказать, председатель совета отряда. В «Артеке» эти председатели советов отрядов на фиг никому не нужны — общелагерные мероприятия наползают одно на другое, мероприятия организуют вожатые и инструкторы, но как без председателя? Нельзя. Подбегаю к Крамарову — тот дремлет сидя — и протягиваю открытку. «Савва» смотрит на меня так, точно это не я, а ближайшая к нему пальма заговорила

Глава девятая «Москва и москвичи»

человеческим голосом, что-то бурчит в ответ, не разбираю, что именно, но посылаю: отстаньте. Получая открытку с автографом, задаю ему какой-то вопрос, но тут на нас налетают ребята и плотно окружают Крамарова. Натиск такой, что Савелию едва удается удержаться на своем насесте, и он просто сбегает...

Где-то в середине смены нас ведут на Аю-Даг, Медведь-Гору, и по дороге рассказывают легенду о гигантском медведе, который шел несколько дней, смертельно устал, лег у моря и окаменел. На вершине Аю-Дага, в ложбине, есть «волшебный горячий камень», и говорят, если сесть на камень и загадать желание, оно непременно исполнится. Про желание нас оповестили заранее, было время подумать, но скажите, пожалуйста, что я могла загадать, кроме мамочкиного заветного ИНСТИТУТА???

...После возвращения домой я начинаю неистово скучать по «Артеку», каждый день писать письма всему отряду «Севан», листать голубой артековский дневник и напевать артековские песни. Я и сама получаю в день штук по двадцать пять писем со всего Советского Союза, и почтальон, не зная, как запихнуть конверты в узкий почтовый ящик, просто складывает их в подъезде на подоконник. В письмах мы обещаем друг другу встретиться в Москве у мавзолея Ленина на Красной площади, кажется, после десятого класса. Через год и письма, и намерения рассасываются, но я до сих пор помню все артековские лица и все имена той августовской немеждународной смены. Когда приходит конец империи под названием Советский Союз, для меня это имеет вполне конкретное значение — ведь большая часть моего отряда «Севан» теперь живет за границей, и наша смена вполне может считаться международной.

А Мальчик? — спросите вы. — Мальчик Из Другой Школы, что с ним?

Мальчик Из Другой Школы вошел в историю моей жизни как первый и самый настоящий поклонник, что, признаться, по закону жанра я совсем не ценила. Но о Мальчике Из Другой Школы — чуть позже.

Эту я не смотрю никогда. Какой смысл смотреть Москву в телевизоре, когда она и так под боком? В Москве живет мамочкина сестра Надя, к которой мы едем при каждом удобном случае, и без случая — тоже. Обычно случай назревает к школьным зимним каникулам, так как в это время меня можно сводить на Кремлевскую елку, где подарки дают не в полиэтиленовых шуршащих пакетах, как во всей остальной стране, а в больших пластмассовых игрушках вроде голубого царя-колокола или красной Спасской башни, полость которых до отказа заполнена сладостями. Разговоры о Москве начинаются осенью, когда подходит к концу колбаса, привезенная Надей летом во время отпуска. Колбаса держится дольше всех, месяца два-три, другие продукты — вроде глазированных сырков, тортов «Прага», баночной ветчины, икры и пачек сливочного масла — съедаются примерно за неделю. (Надя ежегодно приезжает к своей матери, моей бабе Нюре, и на время Надиного приезда бабушкин дом превращается в караван-сарай для всех родственников, друзей и соседей.)

Наша зимняя поездка в Москву строится исключительно из практических соображений: в холода не так опасно везти продукты поездом, к тому же закупать их можно в невероятных количествах. С этой целью со мной едут баба Нюра и ее сестра Антонина, которой «надо кормить и одевать трех мужиков». Баба Нюра, отрицающая все путешествия на свете по причине их страшной опасности и всю жизнь просидевшая дома, в Шарье, в Москву собирается деловито и даже спокойно, словно ей предстоит съездить на местный рынок. Поезд прибывает утром на Ярославский вокзал, и мы долго трясемся сначала в метро до станции «Беляево», а затем — в автобусе до улицы Островитянова. Надя с мужем только что получили двухкомнатную квартиру с двенадцатиметровой кухней (о таких размерах подсобных помещений в Шарье слухом не слыхивали)

в новой высотке, и сюда регулярно приезжает вся родня с обеих сторон. Квартира на Островитянова (благодаря которой я не знаю, что такое московские коммуналки) была получена чудом, а именно, в результате визита американского президента Джорджа Никсона — траектория движения его кортежа прошла мимо тех самых старых домов, где жила наша Надя. Ради Никсона коммуналки быстро снесли, а всем жильцам дали отдельные квартиры — пусть в спальных районах, зато новые и с огромными кухнями. Кроме кухни, правда, здесь ничего нет — комнаты смежные, коридор крошечный, как в хрущевке, о кладовке забыли. Есть еще приличный балкон, которого я, как и лифта, опасаясь: квартира находится на двенадцатом этаже, и с этой гигантской высоты за лесополосой видна вся Москва. На балкон я стараюсь не выходить, но лифта миновать не удастся, и я пытаюсь не думать о том, что будет, если кабина вдруг «оборвется» и полетит.

Как Надя осталась в Москве? Очень просто: как все, вышла замуж. Весь свой химико-технологический институт, МТИ, она грезилась о сибирских городах-миллионниках вроде Омска и Томска, но на пятом курсе вышла за москвича Сашу Федоренко, который года четыре уговаривал Надю стать его женой. Подозреваю, что все это время у мамочкиной сестры были другие поклонники и сумасшедшие любви, но не мне вам рассказывать, что происходит с сумасшедшими любовями, когда на них возлагают надежды, а Саша Федоренко доказал свою преданность — раз, происходил из хорошей семьи — два, обладал ростом один метр восемьдесят пять сантиметров — три, был умен и снисходителен к людям — четыре. Вполне достаточно. Но существовало еще несколько плюсов: Саша, как и мой папа, следил за всеми книжными новинками и был, что называется, в курсе — пять, и главное — ради Нади он терпел все, включая частые наезды ее многочисленной родни... Когда я подросла и со мной стало возможно вести всякие женские разговоры, Надежда часто говорила, что мужа надо выбирать по принципу «зато».

— Как это? — спрашивала я.

— Ну, мой Александр Палыч — «зато порядочный и умный», — смеясь, отвечала она, — а папа твой — «зато талантливый»...

Семья Александр Палыча, которого мы, дети, обожали, потому что он всегда говорил со всеми — и с бомжом, и с академиком — уважительно и на равных, заслуживает отдельного разговора. Мать, Вера Ниловна Прозерская, — потомственная дворянка, дочь предводителя гимназий в Сувалках (сейчас это территория Польши). Отец, Павел Николаевич Федоренко, сын рабочего, родился в Николаеве и в пятнадцать лет по причине редчайшей в те годы грамотности служил писарем в штабе Котовского. Увлеченная идеями революции, красавица Верочка Прозерская знакомится в Одессе с Павлом, который после Гражданской войны становится комиссаром Всеобуча, влюбляется в него, опасаясь большевистского террора, отчество «Ниловна» меняет на «Николаевна» и остается с любимым. По моде тех лет брак свой молодые регистрировать не хотят, даже когда у них рождается дочь Зоя, и официально расписываются только шестнадцать лет спустя, после рождения сына Саши. В конце двадцатых семья перебирается в Москву, Павел Николаевич поступает в МХТИ имени Менделеева, Вера Николаевна — в экономический институт. Получив образование и став специалистом в области каучука и резины, Федоренко-старший много ездит по стране, делает карьеру на производстве и, в конце концов, оседает в главке резиновой промышленности в должности начальника лаборатории. Прожив вместе почти тридцать лет и избежав грозящих обоим репрессий, супруги разводятся, и на момент свадьбы мамочкиной сестры Вера Николаевна, Зоя и Саша проживают в той самой коммуналке, мимо которой проехал Никсон. Этот развод Саша с матерью переживают тяжело, и с тех пор вся любовь Веры Николаевны концентрируется на сыне. Думаю, ее мгновенная ненависть-зависть, вспыхнувшая к невестке, произрастала даже не из того, что Надя «из деревни», а значит, претендует на жилплощадь. «Эта девица»,

которой она неизменно говорила «вы», пришла и забрала самое дорогое, что по праву еще очень долго могло принадлежать Вере Николаевне, — сына. Жизнь в московской коммуналке со свекровью и золовкой, как вы понимаете, укладывалась в среднестатистический бытовой роман ужасов, но здесь я ограничусь одной деталью. Когда новорожденная Оля, дочка Саши и Нади, просыпалась и плакала, находящаяся тут же новоиспеченная бабушка Вера приходила на общую кухню, где стирала-готовила невестка, и сообщала: «Надя, ваша Оля плачет». С Зоей, напротив, отношения у Надежды сложились почти нормальные, точнее, никакие.

Во-первых, Зойка была старше на шестнадцать лет — другая возрастная категория, во-вторых, Зоя Павловна настолько была занята устройством личной жизни, что на войну с женой брата ни времени, ни сил уже не оставалось. Как все советские женщины, Зоя, экономист по образованию, конечно, работала, но главной ее деятельностью была Московская Светская Жизнь. Московская Светская Жизнь 60–70-х проходила в модных дорогих ресторанах, Домах Актера, Художника и Литератора, театрах, а также на квартирах детей крупных партийных чиновников. Для светской жизни требовались наряды и внешний вид — не знаю, как Зойка выкручивалась с нарядами, зарабатывала она, как все — а вот о фигуре Зои Павловны (грудь — пятого размера, талия — пятьдесят сантиметров) ходили легенды. Говорили, что Зоя ела, как птичка, и только с утра, а после светских ужинов, которые затягивались за полночь и о которых еще Грибоедов сказал «ешь три часа, а в три дни не сварится», всегда принимала слабительное... Первым мужем Зои, с которым она прожила пять лет, стал сын генерала Рыбко — от этого брака, проведенного в ресторанах, остались довольно приятные воспоминания плюс фамилия. Второй раз она вышла за одноклассника брата, который был моложе ее на шестнадцать лет, вел непонятный образ жизни и, отправляясь в «командировки», говорил: приеду либо на черной «Волге» (машина-мечта, символ крупнейшего успе-

ха), либо на «черном воронке». В итоге получился черный воронок, и муж надолго исчез из Зоинной жизни. После второго развода, несмотря на все усилия, личная жизнь никак не желала устраиваться, а на момент свадьбы брата и вовсе зашла в тупик: новые кавалеры, в которых никогда не было недостатка, долго не задерживались, а на горизонте замаячил первый «ужасный» женский юбилей — сорок. Зойка возвращалась после ночных кутежей домой и все отчетливее видела счастливую семейную картинку брата: мама, папа и ребенок, весело топающий по комнате. И однажды она поняла, что ей нужно делать... Бросив светскую жизнь, Зоя срочно занялась здоровьем — от многолетних голодовок у Зои Павловны наступил ранний климакс, гинеколог прописал гормональные препараты, но главное — нужно было определиться с потенциальным отцом. На попытки, предупредил врач, может уйти до пяти лет, поэтому ничего не оставалось, как разыскать бывшего недавно освобожденного супруга, закодировать его и начать действовать. Вытребованного у природы ребенка, мальчика Сашу, удалось родить довольно быстро, в сорок два, все его называли исключительно Сашенька.

На момент моего появления Сашеньке исполнилось четыре года, и этот ребенок, как очень многие, явившиеся «по требованию», чтобы решить проблему одиночества мамы, с первых лет стал кошмаром семьи. В те редкие моменты, что я его видела, он беспрерывно капризничал, кричал и бегал по квартире, в которую переехали Вера Николаевна и Зоя. Из невыносимого ребенка, потребности которого наперебой спешили удовлетворить мама, дядя и бабушка, Сашенька превратился в трудного подростка, затем — в молодого человека без образования и с набором всех имеющихся вредных привычек. Раза три он поступал в институт, но дольше второго курса нигде не держался, начал пить, затем сел на наркотики. Женщины, которые, кажется, ежедневно менялись в его жизни, перестали его интересоваться годам к тридцати пяти. К этому времени он не женился и продолжал жить

вместе с матерью, и об этой жизни с регулярным нанесением телесных повреждений знали все — соседи, милиция, мы... Жизнь-война между сыном и матерью продолжалась довольно долго и прекратилась только со смертью Сашеньки, и эта смерть — в сорок лет — оказалась ужасна. Как-то восьмидесятилетняя Зоя, которая к старости почти потеряла зрение, но не здоровье, позвонила Наде и сообщила, что сын несколько дней не выходит из комнаты, и она не знает, что делать. Когда Надежда вошла в Сашину комнату, пропитанную трупным запахом, Сашенька лежал на кровати окоченевший, и его лицо было темно-желтого цвета. Приехала специальная бригада, вскрытие не делали — труп почти разложился, но было ясно, что человек погиб либо от передозировки, либо от гепатита С, либо от СПИДа. Александр Палыч и Вера Николаевна, слава Богу, до этого не дожили...

Впрочем, я сильно забежала вперед, лет на тридцать. Возвращаюсь в начало семидесятых, на Островитянова, 43, где прошло мое детство. Обязанности во время наших зимних визитов у бабы Нюры и ее сестры Антонины были разграничены четко: бабушка готовит и водит меня по елкам, Антонина с сумкой на колесиках объезжает нужные магазины. И неизвестно, которое из этих двух дел тяжелее. Накануне каждой Кремлевской елки почему-то всегда ударяет лютый мороз, и мы с бабушкой, еле живые от холода, тащимся от станции метро «Библиотека имени В. И. Ленина» еще километра два, потому что возле Кремлевского Дворца съездов никакого метро нет. Вместе с нами, точно на демонстрации, движется толпа — с этой же целью. У каких-то очередных ворот солдат внутренних войск останавливает сопровождающих, и дальше дети идут одни еще примерно столько же. В огромном фойе мы раздеваемся и направляемся в гигантский зал, откуда сцена кажется маленькой, а люди на ней — точно мыши. Через полчаса начинается представление, разбавленное концертными номерами, куда непременно входят па-де-де из классического балета и выступление знаменитого хореографического

ансамбля «Березка». На мой детский взгляд, все это скучно, но я не могу не отметить профессиональности видеоряда: и мизансцены все выстроены, и костюмы актеров с иголочками. Все представление я гадаю, какой же на этот раз будет подарок, затем начинаются хороводы вокруг елки, но и там меня занимает только «картинка», а не само действие.

После главной елки Советского Союза мы тем же путем выходим к сопровождающим, которые замучились нас ждать за ограждением. Всякий раз бабушка боится, что мы с ней разменяемся, но этого никогда не происходит, и я быстро обнаруживаю ее в первых рядах. Дома меня ждет всегда одно и то же — заплаканная сестра Оля, которой, как в прошлом и позапрошлом годах, пришлось уступить мне свой билет (его Надин профсоюз выдает в единственном экземпляре), поскольку я живу в Шарье, «а ты москвичка, ты всегда успеешь». Мамочкина сестра Надя любит меня точно так, как если бы я была ее собственным ребенком, и, учитывая то, что я старше сестры Оли на целых пять лет, Надежда любит меня гораздо дольше, чем свою родную дочь. Ольга это подозревает и ужасно, до слез, обижается, что, впрочем, не мешает нам играть вместе целыми днями... Кроме Кремлевской елки, меня обязательно ведут на Таганку, в театр Маяковского, МХАТ, театр Сатиры и иногда — в цирк. Таким образом, мне удастся посмотреть чуть не все лучшие спектакли того времени, которые я потом с радостью узнаю дома, в телетрансляции. В театрах меня очень интересует буфет — пирожные могу съесть в невероятном количестве, и однажды жизнь меня за это наказывает. Съев в очередной раз полдюжины эклеров, я получаю такое сильное отравление с многодневной рвотой, которое раз и навсегда лишает меня доверия ко всем буфетам на свете.

...И конечно же, Красная площадь. Однажды, видимо, пресытившись театрами и наслушавшись в школе про «дедушку Ленина», я прошу отвести меня в мавзолей, и безотказная баба Нюра, конечно, ведет, мы выстаиваем гигантскую очередь и попадаем в небольшое, подсвеченное красноватым

светом помещение, в центре которого стоит гроб с мумией вождя, вокруг которого движется толпа любопытных. Из детских дворовых рассказов я знаю, что ученые намазали Ленина какой-то супермазью, благодаря которой он совсем не разлагается, но, правда, уменьшается ежегодно на сантиметр, и скоро от мумии не останется ничего. А значит, надо успевать. Дядя Саша над моим рассказом смеется и объясняет, что там и так давно ничего нет, кроме лица, волос и рук, которые всю ночь вымачивают в формалине. Войдя в мавзолей, я начинаю принимать, но в том-то и дело, что запаха — нет. Ни формалинового, ни какого-либо другого. Прохладно, как в пещере, и без запаха, что очень странно. Потому что все помещения на свете имеют свой неповторимый запах. Например, больница пахнет линолеумом и кварцем, библиотека — высохшим канцелярским клеем, почта — сургучом, метро — креозотом. Почти все места я помню сначала по запахам, и уже потом — по картинке. И только мавзолей не источает запах.

Итог зимних культурно-просветительных мероприятий почти всегда плачевен — к концу каникул я заболеваю и с температурой еду домой. Накануне отъезда из Москвы Антонина с гордостью демонстрирует нам свои трофеи: джинсы, рубашки, обувь, а также сетку апельсинов и полугодовой запас колбасы во всех видах. Все это упаковывается, пересчитывается бабушкой, и все повторяют: у нас столько-то мест. Когда я подрастаю, меня отпускают в местный гастроном одну, и я начинаю понимать наркотическую зависимость от московского шопинга^А: даже здесь, в магазине спального района, есть всё: и сервелат, и фрукты, и сыр рокфор, и сливки в небольших треугольных пакетиках, и хлеб «Бородинский»... А еще в Москве существуют ВДНХ и кафе «Шоколадница», куда непременно ведет меня Надя. Что касается мамочки, то у нее своя, особенная Москва, куда она ездит только по работе, на усовершенствования и конгрессы кардиологов. Усовершенствования могут длиться по несколько месяцев, и на это время мамочка неизменно берет

с собой моего брата, который часто болеет и с которым она не может расстаться дольше, чем на один день.

Еще одна составляющая моей московской жизни — дача, которую собственноручно построил Надин свекор, Павел Николаевич, на выделенных главком резиновой промышленности шести сотках целины в Клинском районе. Павла Николаевича, бывшего писаря Котовского и комиссара Всеобуча, я помню высоким, подтянутым, очень собранным и очень спокойным. Я его немного побаиваюсь, как боюсь всего чужеродного и неизвестного. Еще больше я боюсь его новую жену с гордым лицом, очень похожую на балерину-пенсионерку. На дачу эта жена, которую зовут — нет, вы подумайте! — Тамара Христофоровна, не ездит никогда, не приезжают и Зоя с Сашенькой, но зато всегда спешит Надя, а значит, и мы. Только благодаря моей тетке и дом, и огород принимают ухоженный плодоносящий вид, хотя непонятно, как это можно осуществить без машины и в трех с половиной часах езды от квартиры на Островитянова. Впрочем, дачу любит одна Надя — Александр Палыч ее ненавидит всем сердцем, вместо Покровки зовет Хомутовкой, но тем не менее таскает ради жены на себе гигантские рюкзаки с овощами. Здесь, на даче, меня настигает еще одна мировая знаменитость — хоккеист Валерий Харламов. Хоккей в Советском Союзе — один из главных брендов, а Харламов — звезда. Дача Харламовых — небольшой деревянный дом голубого цвета — стоит напротив нашей, но я, как назло, с Харламовым никогда не совпадаю: вижу жену, вижу тещу, а его — никогда. Через несколько лет Надя рассказывает об ужасной катастрофе на Ленинградском шоссе, в которой погибли и Валерий Харламов, и его жена Ирина. «Представляешь, — говорит мне Надежда, — за секунду до столкновения он как нападающий понял, что через мгновение все разобьются, и выбросил Ирину из машины, но выбросил неудачно, и она все равно погибла под колесами». У Харламовых остается двое маленьких детей — мы часто их видим с бабушкой,

тшей Харламова. Дача в Покровке до сих пор принадлежит этой семье.

Иногда на «хомутовскую» дачу заглядывают Надины подруги, Вера и две Галины, и разговоры с ними — самое интересное. Подруги находятся в чудесном женском возрасте — от тридцати до сорока, что гарантирует мне вечные темы о «главном». Кажется, у всех подруг есть или были мужья, которые объелись груш, и теперь на рассмотрении новые кандидаты. Некоторых мне даже показывают. Одна из Надиных Галин работает в самом лучшем в Москве месте, которое находится на Краснопресненской и называется Центр международной торговли. Сходить к Галине на работу — Надина подруга там возглавляет химчистку — все равно что взять и шагнуть за границу. Центр международной торговли — это гостиничный комплекс-городок в одном большом здании, где есть все: от лучших ресторанов и концертных залов до службы быта и конгресс-холлов. Коридоры и фойе здесь представляют собой засаженные искусственными и живыми деревьями «улицы», повсюду бьют фонтаны и светит необычный свет, а по одной стене ходит скоростной прозрачный лифт, который может выезжать на крышу. Здесь, на улицах Центра, я впервые увидела фешенебельных московских проституток, скучающих в просторных фойе, а однажды оказалась в ночном баре, едва не упав в обморок оттого, что в качестве живой музыки здесь работает группа Стаса Намина, которая в конце семидесятых была настолько популярна, что пару лет даже затмевала «Машину времени».

Вот это ощущение молодости, избытка возможностей — моя Москва семидесятых. Здесь есть место мечте и надеждам, а главное — времени, которое, конечно же, работает на меня и, как я думаю, состоит сплошь из будущего. Здесь, в столице, по моим ощущениям, есть все, и, набегавшись по театрам и ресторанам, хорошо остаться одной в пустой московской квартире, пока все на работе, поставить пластинку вошедшего в моду Булата Окуджавы и слушать песенку про Арбат.

Окуджава — первый советский бард-звезда, с которым до сих пор многое непонятно. Понятно, что его аудитория отнюдь не народ, а только интеллигенция. Понятно, что, если поставишь пластинку на проигрыватель ради одной песни, все равно будешь слушать обе стороны до конца, хочешь ты этого или нет. Понятно, Окуджава легко поется кем угодно, в отличие, например, от Высоцкого и Пугачевой. Все остальное — неясно. Как однажды сказал Вознесенский, у нас появился странный поэт: стихи обычные, музыки никакой, голос посредственный, все вместе — гениально. Кажется, ближе всех к секрету Булата Окуджавы подобрался Дмитрий Быков, назвав его амбивалентные стихи «рамками» и «магнитными ловушками», притягивающими многочисленные, порой противоположные смыслы. И у каждого этот смысл свой.

Чем старше я становлюсь, тем чаще приезжаю в Москву — Надя все время на работе, и мы с Ольгой целыми днями вдвоем. Большинство из москвичей, как моя тетька, живут на окраине, работают в центре, а это значит, на дорогу в один конец уходит полтора-два часа. Фабрика крашения мехов, на которой сорок пять лет прослужила наша Надя сначала главным инженером, а затем директором, была для мамочкиной сестры тем, чем для мамочки — больница; о новых технологиях и новых результатах Надя может говорить часами, как мамочка — о доказательной медицине и современных схемах лечения. Иногда, если мы идем в театр, я заезжаю к Надежде на фабрику, и меня даже могут провести по цехам, где, как в сказке про Конька-Горбунка, стоят котлы кипучие, и из них валит пар. Постепенно Надя как специалист обрастает кругом особых клиентов, состоящих из актеров и жен партийных чиновников. Им всем нужно что-то красить и чистить, и в благодарность они приносят билеты на лучшие спектакли Москвы, о которых Надежда рассказывает с горящими глазами. Впрочем, она все умеет делать с горящими глазами — бежать на работу, готовить манты и харчо, за вечер шить модную кофточку.

А еще нашей Наде доступно то, что почти для всех советских людей остается за семью печатями — поездки за границу. В семидесятые, когда все в лучшем случае едут в Сочи, мамочкина сестра ежегодно отправляется то в ГДР, то в Чехословакию, а однажды — страшно выговорить — в круиз по Средиземноморью. Дочка Оля каждое лето проводит в Шарье, и если Надя за границей, нас ждут особенные подарки, из которых в памяти остаются фирменные пакеты с картинками и английскими буквами и тонкая жевательная резинка. Точно так же, как дети, этим жвачкам радуются взрослые, и нас заставляют делиться. Отчего-то заграничными поездками не восхищается одна мамочка — ведь только она знает, что они каждый раз ставят Надину семью «на грань развода». Когда Надя сообщает мужу об очередном путешествии, мягкий, добрый, безобидный интеллигент в седьмом поколении Александр Палыч приходит в бешенство, бежит по квартире с вытаращенными глазами и кричит, что домой Надя может не возвращаться. Та кивает, уезжает и возвращается, происходит неизбежное примирение, и так — до следующей поездки. Как всем руководителям, моей тетке выпадают и заграникомандировки, на которые муж реагирует точно так же, что не мешает нашей Наде с советским паспортом объездить весь мир. Со временем я догадываюсь, что дело здесь, конечно, не только в поездках. Однажды нас с Надей везет в магазины «Лейпциг» и «Ядран» какой-то ее знакомый Володя военного вида, и разговаривает она с этим Володей «особенным, домашним» тоном. Позже я узнаю, что Володя военного вида серьезно ухаживал за мамочкиной сестрой и даже делал предложение, но Надя, поколебавшись, все-таки отказала.

Связь между мамочкой и ее сестрой — крепкая, пылкая и многолетняя; мамочку Надя боится пуще родителей и советуется всегда только с ней. У мамы же, в свою очередь, и подруг, кажется, нет, кроме младшей сестры. Как своего ребенка, мамочка любит Надину Ольгу, а Надя даже одно время была молочной матерью моего брата. Симметрично, так же, как сестры, дружат наши с Ольгой

отцы, и мой папа, который всегда на стороне Александр Палыча, больше всех борется с заграничными поездками свояченицы и теплеет к ней только тогда, когда Надя делает окончательный выбор в пользу семьи и в сорок два года рождает второго ребенка. Отец, как и я теперь, понимает, что любимый всеми нами Надин муж — фигура, несомненно, трагическая, так как женился и всю свою жизнь прожил с женщиной, которую любил безответно. И эта трагедия — не единственная, и может быть, даже не худшая, — так как вторая была связана с делом его жизни.

Александр Палыч родился в семье потомственных, вошедших во все энциклопедии химиков (со стороны матери), а когда химией серьезно увлекся и его отец, вопрос о выборе профессии Саши Федоренко вообще не стоял. Беда в том, что склонности к этой химии юный Саша не имел никакой, а обожал, напротив, историю, поражая знаниями всех попадавшихся на своем пути преподавателей. Когда он слабо заикнулся о поступлении на истфак, дома был страшный скандал. Втихаря, только чтобы проверить себя, Александр Палыч подал документы в МГУ на исторический, поступил, но учиться не стал и отправился на семейный химфак. В МХТИ Саша Федоренко выдержал очень долго, аж до четвертого курса, потом махнул на все рукой, бросил институт и устроился на работу в один из московских «почтовых ящиков». Талант, если он настоящий, не дает человеку покоя ни днем ни ночью, и промучившись в «ящике» лет пятнадцать, Надин муж отправился в МГПИ Ленина на заветный истфак. Диплом, который в итоге написал Александр Палыч, был приравнен к кандидатской диссертации, чем наш дядя Саша был счастлив, как ребенок. Преподавать он, конечно, не стал, устроился в архив (где его обожали все «девочки»), опубликовал несколько известных среди специалистов научных работ, в том числе биографию Махно. Биографию Махно ему, правда, пришлось брать у жены с боем: Надя тогда была беременна Колей, до рождения ребенка требовалось срочно сделать в квартире ремонт, а муж, кажется, первый раз в жизни, проявил невиданную

прыть и наотрез отказался отвлекаться от Дела Жизни, мотивируя это тем, «что ваш ремонт на х.. никому не нужен, а с биографией Нестора Ивановича Махно я попаду туда, где мне и положено быть — в историю». Так оно и случилось. Но если бы не свинцовая жесткость родителей, если бы он поступил на свой истфак вовремя, если бы смог заняться наукой... Если бы... если бы... если бы...

Как и мой отец, после шестидесяти Александр Палыч тоже включает программу самоуничтожения; ему даже и пить для этого не нужно, достаточно отсутствия желания жить. Он и раньше-то был меланхоликом, а теперь и вообще разучился радоваться. Как-то летом мы традиционно собираемся

всей семьей в Шарье, и среди детского гама и беготни (мы выросли — носятся моя дочь Аня и Надин сын Коля) я натыкаюсь на такую картинку: возле журнального столика за бутылкой водки и нехитрой закуской, самими, видно, организованной, молча сидят Александр Палыч и мой отец, и я вдруг отчетливо понимаю: прощаются, вот это — их последняя на земле встреча. И действительно, сначала умирает мой папа, а после — от рака кишечника — Надин муж. И опять я застаю женскую часть семьи сидящей после похорон, и мы, словно из пазлов, пытаемся собрать-вспомнить жизнь Саши Федоренко, но вспоминаются почему-то лишь биография Махно и то, как Александр Палыч любил нашу Надю.

¹ Райисполком (РИК), районный исполнительный комитет — местный орган государственной власти в СССР.

² ^ — слова, отмеченные таким знаком, в описываемый момент не употреблялись.

³ СЭС — санитарно-эпидемиологическая станция.